Нина Липовецкая-Прейгерзон

МОЙ ОТЕЦ ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

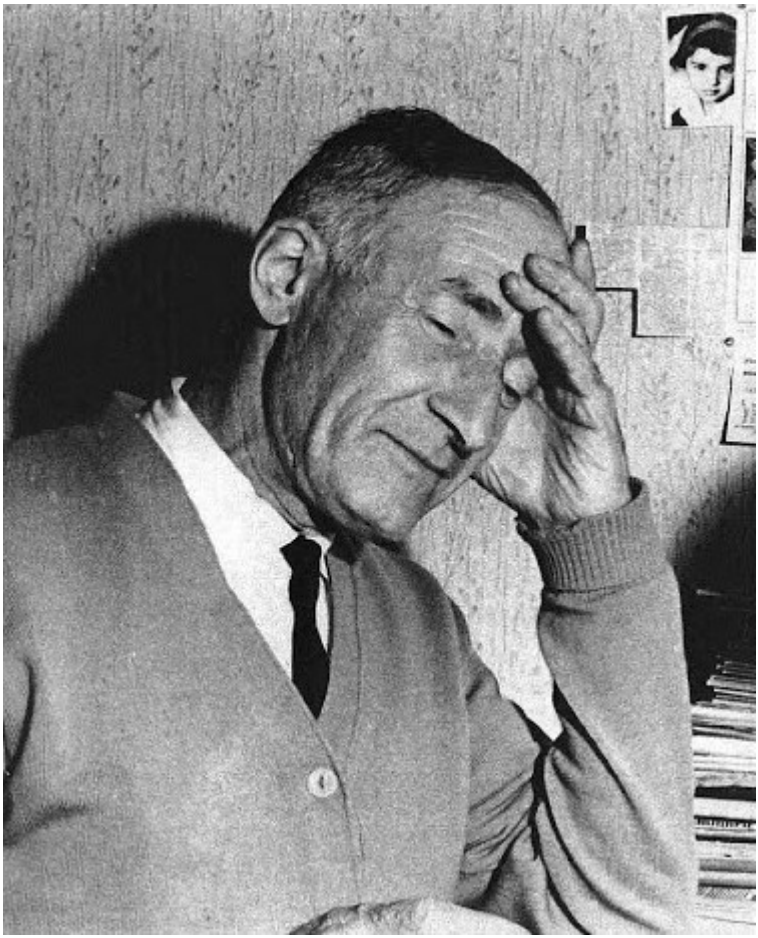
Мне хотелось бы рассказать вам о судьбе своего отца, этого удивительного человека, выдающегося писателя, создавшего яркую галерею человеческих образов; ученого, оставившего значительный след в науке. Зачем? Вообще-то об отце уже довольно много написано и рассказано, да и объемистый массив его изданных публикаций говорит сам за себя… Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно!
Нина Липовецкая-Прейгерзон

- Нина Липовецкая-Прейгерзон
  -
  - Вместо предисловия
  - Семья. Детские годы
  - Гимназия «Герцлия»
  - Одесса
  - Москва
  - Дом на Погодинской
  - Летние месяцы
  - Война
  - Послевоенные годы
  - Арест. Караганда
  - Абезь и Воркута
  - После освобождения
  - «Когда погаснет лампада»
  - Последние дни
  - Переправка архива в Израиль
  - Судьба творческого наследия писателя
  - Эпилог
  - Приложения
    - Приложение I
      - Вступительное слово Аарона Мегеда,
      - Выступление писателя Моше Шамира
      - Выступление писателя Аарона Мегеда

        - Выступление Михаэля Занда
        - Алекс Тарн
    - Приложение II
        - Художественные произведения Цви Прейгерзона
        - Статьи о Цви Прейгерзоне на русском языке[8]
    - Приложение III
    -
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

Нина Липовецкая-Прейгерзон
Мой отец Цви Прейгерзон

Внукам и правнукам писателя
Цви Прейгерзона посвящается



Цви Прейгерзон, 1968 г.

Вместо предисловия

Как-то я спросила отца, на каком языке он думает?

«На своем родном, на иврите», — ответил он.

Однажды в жаркий летний день отец мне сказал: «Можешь представить себе такую картину? Ты выходишь на берег моря. Над головой — слепящее солнце и яркое голубое небо, а под ногами — чистый песок и море, синее-синее море. Жарко, очень жарко… Тут же, на берегу, ты подходишь к маленькому прилавку. Лоточник выдавливает из свежих плодов стакан апельсинового сока, бросает туда лед, и ты пьешь этот обжигающий волшебный напиток!»

Мы оба понимающе улыбнулись. Прошло почти пятьдесят лет с момента его краткого пребывания в Эрец-Исраэль, но отец по-прежнему вспоминал то время как одно из самых важных событий своей жизни. Именно те ярчайшие впечатления, многократно усиленные свежестью подросткового восприятия, во многом определили его дальнейшую судьбу.

В 1943 году наша семья вернулась в Москву из Караганды, куда была эвакуирована в начале войны. Я понемногу осваивалась в новой московской школе, зачитывалась русской классической литературой. К западу от столицы продолжалась война, и наши представления о ходе военных действий определялись сводками Информбюро.

Осенью 44-го мне исполнилось четырнадцать лет. Вскоре после этого отец принес домой свежий 11-й номер журнала «Знамя». Он открыл его на странице, где начиналась повесть Василия Гроссмана «Треблинский ад».

— Это вы должны прочитать, — сказал он мне и моей сестре Аталии.

«Треблинский ад» перевернул мою детскую душу. Пожалуй, это было самым сильным впечатлением из всех, которые когда-либо влияли на всю мою последующую жизнь. Именно тогда ко мне пришло то, что называется еврейским самосознанием: я внезапно ощутила себя частью еврейского народа. Эту повесть можно считать беспримерным подвигом Гроссмана, великим прорывом в советской литературе. Увы, прошло совсем немного времени, и подобные публикации попали под запрет. Но «Треблинский ад» был уже напечатан, и советские читатели, и я в их числе, успели прочитать о том, что происходило на

территории Треблинки, где действовала фабрика по массовому уничтожению евреев. Об этих недавних убийствах корреспонденту «Красной Звезды» Василию Гроссману рассказали крестьяне из окрестных деревень; после восстания обреченных в 1943 году уцелели только отдельные евреи… Гроссман тоже пережил личную трагедию: его мать погибла в Бердичевском гетто, и вот теперь он сам стоял на земле, смешанной с человеческим пеплом, пропахшей запахом смерти.

«Еще не развеялся пепел сожженных трупов, — писал Гроссман, — а в жухлой траве попадались детские ботиночки, человеческие зубы, клочья волос…»

Повесть потрясла меня, поселила во мне предельную чуткость к любым проявлениям антисемитизма. С тех пор, если мне говорили: «Ты совсем не похожа на еврейку!» — я гневно возмущалась: как это не похожа? Неправда, мы все были евреями, и все были в этом смысле похожи друг на друга, все разделяли общую еврейскую судьбу — и я, и мои любимые родители, и весь мой народ!..

Я помню, как в московском трамвае хулиганы глумились над испуганным еврейским мальчиком со скрипкой под мышкой. Они ненавидели его, были готовы растерзать его на месте — за что? За что? Кто мог ответить мне на этот немой вопрос? Это была моя ранняя школа сионизма.

Прошла длинная жизнь, полная событий — радостных и не очень. Прошла, оставив по себе немало славных и горестных воспоминаний. Но никогда мне не забыть того дня, когда, не в силах подавить рыдания, я читала «Треблинский ад».

Стоит только начать записывать воспоминания, как они набрасываются на тебя всей гурьбой, расталкивая друг друга и норовя протиснуться вперед, чтобы первыми заявить о себе. Поэтому я попытаюсь просто вести рассказ по порядку, шаг за шагом повествуя обо всем, что знаю и помню. Мне хотелось бы рассказать вам о судьбе своего отца, этого удивительного человека, выдающегося писателя, создавшего яркую галерею человеческих образов, ученого, оставившего значительный след в науке. Зачем? Вообще-то об отце уже довольно много написано и рассказано, да и объемистый массив его изданных публикаций говорит сам за себя. Передо мной лежат на столе его книги, научные статьи, учебники, воспоминания друзей и близких.

Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что

кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Эти особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! И я тороплю себя, чтобы успеть дополнить, завершить рассказ о жизни моего отца, ушедшего, не дожив до семидесяти лет. Потому что и теперь, когда я сама уже много старше его смертного возраста, образ папы по-прежнему живет в моем сердце, и мне по-прежнему трудно сдержать волнение.

Семья. Детские годы

Мой отец, Цви-Герш Прейгерзон, родился 26 октября 1900 года на Волыни, в местечке под названием Шепетовка. Его отец, Исраэль Прейгерзон (1872 — 1922), уроженец Красилова, был трудолюбивым ремесленником и прекрасным семьянином. Он держал маленькую мастерскую, где шили талесы и кипы. Хорошо образованный человек, он следовал традициям Хаскалы, свободно читал на иврите, выписывал книги и журналы и был одним из основателей местной сионистской организации.

В семье больше говорили на иврите, а не на идише, хотя идиш звучал в местечке повсюду. Дом был полон старинных книг и периодических изданий на иврите, и глава семейства любил вслух читать своим сыновьям стихи Лейба Гордона, романы Мапу и другие ивритские тексты. Цви очень любил отца. В своих рассказах и в романе «Неоконченная повесть» он раз за разом обращается к памяти о нем. Я узнаю его черты во многих персонажах Прейгерзона, в образах самых разных людей с разными судьбами и профессиями.

Дед играл весьма заметную роль в работе сионистской организации города Красилова. К сожалению, его последние годы оказались особенно тяжелыми Революция покончила со скромным предприятием Исраэля Прейгерзона, и он устроился работать на фабрику, сменив талесы на полотенца. Семья бедствовала, и деду, по-видимому, пришлось приторговывать канцелярскими товарами, чтобы хоть что-то заработать. В архиве Цви Прейгерзона сохранилась открытка, помеченная 1922 годом: Исраэль просит сына прислать ему из Москвы десяток карандашей и несколько школьных тетрадей…

Неизвестно, успел ли он продать эти карандаши: дед умер в том же 22-м году в возрасте 50-ти лет от тифа, который свирепствовал тогда повсеместно.

Раиса Гальперина. 1935 г.

Бабушку, мать моего отца (1872 — 1939) звали Раей (Раисой) Гальпериной, и происходила она из семьи Дова-Бера Карасика, известного раввина, отпрыска знатного рода законоучителей и священнослужителей, еврейской духовной аристократии. Державшаяся с большим достоинством и в то же время чрезвычайно скромная, она разделяла сионистские взгляды мужа, и, как истинная еврейская мать, посвятила всю свою жизнь семье, домашнему уюту, воспитанию и образованию детей. В доме Прейгерзонов царило согласие и взаимопонимание, а сыновья их всегда отличались культурой, благородством, доброжелательностью.

В семье росло трое сыновей. Старший, Шура (Ошер, 1899 — 1967), был весьма одаренным мальчиком. Жизнь сложилась так, что ему не выпало получить высшее образование, но из него вышел отличный служащий, хорошо знавший свое дело.

Мой отец — средний сын — отличался особыми способностями: музыкальностью, художественным вкусом, любовью к чтению, яркой фантазией, прекрасным знанием иврита. Он был любимцем матери. Третий сын, Яша (Шая, 1903–1965), учился в Киеве и стал крупным инженером. В 30-е годы его с группой ведущих специалистов послали перенимать опыт в Америку, на заводы Форда.

До Второй мировой войны дядя Яша был главным металлургом Харьковского тракторного завода, знаменитого ХТЗ. Работая на заводе, он написал и защитил кандидатскую диссертацию. Я видела ее потом, напечатанную в виде книги, в книжном шкафу моего отца. В Харькове у него была просторная отдельная квартира — большая редкость по тем временам. Бабушка Рая последние годы жизни жила в семье дяди Яши. Лето она часто проводила с нашей семьей.

Братья Прейгерзоны. Слева направо: Гриша (Цви), Шура (Ошер) и Яша (Шая). 1935 г.

Мы с сестрой Асей видели ее в последний раз в 1939 году, когда заехали в Харьков после летнего отдыха. Дядя Яша приехал нас встречать на настоящем «Форде». Бабушка тогда уже тяжело болела, и мы навестили ее в больнице. Лейкемия — страшная болезнь. Помню, как нас поразило полное отсутствие волос на ее голове — прежде у бабушки были длинные светло-рыжие пряди. И вот — белая ситцевая косынка, и больше ничего. Помню ее бледную бескровную руку, помню, как она погладила меня по голове. И последнее впечатление — бабушку уносят из палаты на очередную лечебную процедуру. Больше я ее никогда не видела…

Некоторое время спустя, уже в Москве, мы получили телеграмму с извещением о бабушкиной смерти. Это был первый и единственный раз, когда я видела отца плачущим. На следующий день он уехал в Харьков на похороны.

В начале войны завод дяди Яши эвакуировали на Алтай, после чего он стал называться «Алтайский танковый завод» (АТЗ). Забегая вперед, скажу, что когда моего отца арестовали в 1949 году, дядю Яшу уволили с его должности.

Детство и юность отца пришлись на первые десятилетия XX века. Этот был крайне тяжелый для еврейских судеб период. В пределах «черты оседлости» жившие там евреи подвергались

частым и жестоким погромам. Из-за своего массового характера, изуверства и отношения к этому властей они стали известны далеко за пределами России. Затем грянула Первая мировая война, по дорогам потекли потоки беженцев, и евреи, проживавшие в районах боевых действий по обе стороны фронта, первыми попали в эту кровавую мясорубку.

Дети впитывали в себя весь этот нечеловеческий быт, жестокость и ненависть, шум и ярость безумного времени. Как и многие другие еврейские семьи, вынуждены были сняться со своего места и Прейгерзоны, они стали беженцами. Впоследствии эти драматические события будут отражены в романах и рассказах Цви Прейгерзона, написанных на иврите.

> Совсем близко от наших мест бушевала война. Каждый день через наш городок проходили сотни солдат, пеших и конных, раненых и пленных, катились вагоны, пушки… К этому времени я стал повзрослевшим детиной с раздавшимися плечами. Мать моя совсем извелась, с ужасом думая о том, что меня могут призвать в армию… И вот однажды, в хмурый зимний день, когда мы всей семьей сидели за столом и пили чай, в нашу комнату вбежал сосед, Ханан Фишер. Лицо его было перекошено, и он не своим голосом заорал: «Революция!»
>
> Вот так-то, покуда мы чай пили, свершилась революция, царя свергли, к нам явились Свобода, Равенство, Братство!..

(Рассказ «Мой первый круг»)[1]

Конечно, он напишет об этом много позже. А пока что Цви растет в семье, где больше всего ценятся знания, где иврит звучит наряду с идишем и соблюдаются давние обычаи отцов. Разумеется, Цви, как и все еврейские мальчики, получил начальное образование в хедере.

Хедер, меламеды, синагоги, еврейская община, большая или маленькая, — словом, все то, что составляло неотъемлемую часть еврейской жизни в местечке и даже в большом городе, — все это впоследствии займет важное место в раннем творчестве отца.

Делом меламеда было научить ребят грамоте и познакомить их с ТАНАХом. Однако родители моего отца понимали, что этого будет недостаточно для одаренного мальчика, много читавшего и необычайно любившего иврит. Их заветной мечтой было подготовить сына к получению высшего образования. Похожие настроения были и в других семьях, так что вскоре местные сионисты смогли открыть в местечке новую школу. Было

арендовано помещение, оборудованы классы и, главное, приглашены профессиональные преподаватели из больших городов.

Обучение велось на иврите; программа включала не только общеобразовательные дисциплины, но и музыку как специальный предмет. Во главе школы стояли брат и сестра Барух и Хана Шиловские, ученики знаменитого Элиэзера Бен-Иегуды. Они были одними из первых энтузиастов возрождения разговорного иврита, так что можно сказать, что отцу повезло с учителями. Барух преподавал математику, иврит и ТАНАХ, Хана учила детей музыке и естествознанию.

> Это было что-то новое в нашем городке — возрождение забытого языка. Язык Книги начал выходить из долгого забытья, а в разных уголках страны появлялись смельчаки, готовые упорно бороться за него.
>
> В первые годы, когда старому-новому языку надо было еще застолбить место под солнцем, его брата — идиш — слегка отодвинули в сторону, но тут начались раздоры между приверженцами иврита и идиша. Это была борьба за существование, и возрождаемый иврит потихоньку начал укореняться в среде еврейской молодежи.
>
> *(«Неоконченная повесть»)*[2]

Однако не прошло и года, как школа закрылась Почему? Вот что говорит об этом папа в том же романе:

> Число учеников этого хедера постепенно увеличивалось, открылся также класс для девочек. Но полиция подозрительно смотрела на школу. Конечно, скажем, исправнику и некоторым чиновникам можно было позолотить ручку, но ведь над исправником стоял пристав, а над приставом чиновники более высокого звания.
>
> Вдобавок кто-то послал какую-то бумагу в городскую управу, а затем — донос в Петербург, и школу закрыли по приказу высокого начальства. Ходили слухи, что в этом деле была и рука меламедов, — и то сказать, ведь такая школа начала их оттеснять, а чего не сотворишь ради заработка? Всего один год просуществовала ивритская школа в местечке, но она успела зародить в молодых душах крепкую связь с далеким прошлым своего народа, связь, зажегшую негасимую свечу на

долгом трагическом пути поколений…

Тем не менее, это не помешало отцу приобрести глубокие познания в иврите, который уже тогда был его родным языком. В романе «Когда погаснет лампада» (*«Эш ха-тамид»*) упоминается пожилой родственник, знаток ивритской словесности. Возможно, в образе этого дяди Ханоха отражены черты моего деда. Отец описывает огромную ивритскую библиотеку дяди Ханоха, которая занимала почти все пространство его маленькой квартиры. Сын Ханоха предпочитал гонять мяч во дворе; не исключено, что данный эпизод тоже автобиографичен и демонстрирует разницу между самим Цви и его родными братьями. Герой романа ежедневно ходит к дяде Ханоху и поглощает огромное количество ивритских текстов, светских и религиозных. То же самое можно было сказать и о моем отце, авторе этого романа.

Отец не рассказывал нам о событиях того времени, о семье, о родственниках. Лишь повзрослев и узнав, что происходило в «окаянные дни» нашего собственного детства, мы стали понимать причины его длительного молчания. Ведь в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы самые что ни на есть обычные семейные подробности могли запросто погубить человека. И не только могли, но и губили, если кто-нибудь неосторожно вспоминал о проживающем в Израиле дяде Натане или о скончавшейся в Америке тете Мане! Поэтому в архиве отца не осталось ни фотографий, ни пожелтевших от времени писем. Все это заменяла одна формальная биография, вернее, анкета, которую обычно заполняли при поступлении на работу.

Досадно, что мы (как, впрочем, и большинство детей) мало интересовались прошлым отца, не проявляли достаточного любопытства к его родовому древу.

Итак, мой дед Исраэль всячески поощрял литературные наклонности среднего сына, приобщая его и к еврейской классике, и к новой еврейской литературе в многочисленных ивритских изданиях и периодике тех лет. Из всех трех братьев только для моего отца этот язык стал по-настоящему родным. По-видимому, в папе с раннего детства сидела врожденная, корневая склонность к ивриту.

> По субботам, совершая с хасидами три трапезы, я впитывач в себя этот трепет еврейской души, и томительная тяга к еврейству вошла в мою кровь, отравила меня сладостным своим ядом и навечно сделала пленником иврита.
>
> *(Рассказ «Мой первый круг»)*

Гимназия «Герцлия»

Литературные способности проявились у отца с раннего детства. Едва научившись читать и писать на иврите, он принялся сочинять стихи. Родители внимательно следили за увлечением сына. В какой-то момент дед, не вполне доверяя своему суждению, отправил тетрадки со стихами сына в Одессу, к самому Хаиму-Нахману Бялику! Вскоре пришел ответ. Бялик, один из столпов современной ивритской поэзии, похвалил первые опыты мальчика и отметил, что видит в присланных стихах несомненные задатки дарования, которое следует поощрять и развивать.

Хаим-Нахман Бялик

Согласно семейному преданию, в письме Бялика были и такие слова: «Я в его годы так не писал. Он может стать большим писателем, если ему не подрежут крылья». Кроме того, классик посоветовал родителям Цви дать сыну более основательное образование на иврите, которое вряд ли можно было получить в маленькой Шепетовке.

Примерно в то же время, в 1913 году, стало известно, что в Одессе собирают группу подростков для отправки в юный город Тель-Авив на учебу в гимназии «Герцлия». Эта поездка была организована деятелями Еврейского Конгресса в рамках программы помощи еврейскому ишуву в тогда еще турецкой Палестине. Родителям Прейгерзона удалось присоединить к этой группе и своего сына. За детьми должен был присматривать опытный воспитатель по фамилии Душман.

В своем позднем дневнике воспоминаний (1957–1969 гг.) отец пишет, как они с матерью[3] приехали в Одессу, откуда

должен был отправиться пароход. Перед отплытием они навестили Бялика, и папа на всю жизнь запомнил его крепкое рукопожатие. Оно стало для мальчика и напутствием, и благословением, незабываемым и полным высокого смысла.

В большом бауле, любовно собранным матерью, оказалось много ненужных вещей, например, зимнее пальто. В качестве карманных денег Цви получил один рубль и наказ беречь эту огромную сумму от одесских воришек.

Пароход назывался «Иерусалим». Это было небольшое, видавшее виды суденышко. Оно шло с заходом в Константинополь и другие крупные порты. Путешествие произвело сильнейшее впечатление на мальчика. Осенью 1913 года «Иерусалим» подошел к берегу древнего Яффо. Вспоминая об этом событии, отец напишет в романе «Неоконченная повесть»:

> Впервые в жизни Шоэлю предстояло ехать на поезде и плыть по морю. Он чувствовал себя как во сне. И вот они едут с отцом в Одессу, где останавливаются в гостинице «Россия». Едят кошерную рыбу в гостиничном ресторане. А за его стенами шумят улицы, грохочут телеги, как бешеные несутся машины, издавая странные пугающие звуки. Трамвайные звонки, гудки машин, стук лошадиных копыт, скрип и визг колес, шаги топавших по тротуарам людей… Сумасшедший, суматошный город!.. Однако не меньше суматохи было и на палубе парохода «Иерусалим» в день отправления. Шоэль присоединился к группе учеников «Герцлии», которую возглавлял учитель Душман, молодой человек с коротко подстриженной бородкой. Он вез своих подопечных в Тель-Авив, куда они возвращались после летнего отпуска в России у своих родных. Ребята говорили на иврите с сефардским произношением. К ним и присоединились новенькие, и среди них Шоэль Горовец.
>
> Наконец-то рявкнул третий гудок, и пришло время расставания… «Иерусалим» отходит от пристани, отец остается внизу на набережной порта. Люди прощально машут руками, кидают в воздух платки… Головы провожающих вскинуты, они благословляют пароход, отплывающий в страну отцов. Пароход медленно удаляется, все дальше, и вскоре провожающих уже почти не видно, Одесса остается вдалеке, еще чуть-чуть, и вся Россия исчезнет за горизонтом…
>
> И вот однажды Душман воскликнул: «Галилейские горы!» — и показал на горную гряду, синевшую на

востоке. Шоэль вскинул голову. Сердце его забилось, как если бы он увидел материнский дом. На борту парохода «Иерусалим» возвращающаяся в Палестину молодежь, не сговариваясь, затянула песню:

О, родная земля, дорогая земля!..

Стояла осень, над землей стлался несмелый утренний свет. Пароход причалил, спустили трап, и вот уже дети сидят в лодке, которая доставит их на берег. Еще немного, и ноги Шоэля ступят на эту древнюю землю. Яффский порт пестрит людьми. Смуглые, чернокожие, в красных фесках, с косицами на затылках, грузчики, торговцы, дети, женщины, закутанные в покрывала, с платками на лице, лошади, ослы и двугорбые верблюды — все это крикливо двигалось туда и обратно, гудело, издавало гортанные звуки. Разноголосый шум восточного порта, море до горизонта, плеск опускающихся в воду весел и крепкие обнаженные тела гребцов, крики торговцев фруктами и напитками, жареными каштанами и сластями, — поистине, то была дивная и пестрая мозаика цветов и звуков.

По приезде Цви был помещен в пансионат, специально устроенный для приезжих детей. Это были небольшие домики неподалеку от школы, где ученики получали жилье и питание. Директором пансионата был Липман.

Цви — ученик гимназии «Герцлия». Тель-Авив, 1914 г.

Так отец начал учиться в знаменитой гимназии «Герцлия». Это было время Второй алии (1904–1914). Именно в этот период в

Эрец-Исраэль прибыло много сионистской молодежи, выходцев из средних слоев, торговцев, деловых людей. Их усилиями в Стране возникли важнейшие экономические и культурные институты. И, главное, на берегу Средиземного моря вырос город Тель-Авив — первый город возрожденного иврита. А культурным сердцем Тель-Авива стала гимназия «Герцлия», составившая славу будущего Государства Израиль.

Созданная в 1905 году в Яффо супругами Митман, эта поначалу частная школа получила два года спустя поддержку Всемирного сионистского Конгресса и вскоре превратилась в общенациональный проект. Одним из первых, кто откликнулся на призыв поддержать ивритоязычную гимназию, где еврейские дети получают общее образование и знакомятся с основами истории своего народа, был Яаков Мозер, сионист, судья из Англии.

Мозер пожертвовал на строительство гимназии огромную по тем временам сумму — восемьдесят тысяч франков, а в дальнейшем добавил еще двадцать тысяч. При этом он поставил два условия: гимназия должна носить имя Теодора Герцля, и программа обучения должна соответствовать лучшим школам Европы. Вскоре последовали и другие пожертвования.

Было закуплено школьное оборудование, учебники, пособия — все, что требовалось для большой солидной гимназии европейского уровня. В организации учебного процесса активно участвовали Хаим Богер (Боградшов) и Менахем Шенкин. Так, практически одновременно с началом застройки Тель-Авива в 1909 году, началось и строительство гимназии «Герцлия». В основание будущего здания школы были положены краеугольный камень и бутылка с вложенным в нее посланием будущим поколениям.

Уже летом 1910 года, в центре первого строящегося квартала только что возникшего города, на улице Ахад ха-Ам, появилось красивое двухэтажное здание, украшенное элементами восточной архитектуры. Первая в мире средняя школа с преподаванием на иврите стала символическим центром Тель-Авива — именно школа, а не синагога, не мэрия, не полиция.

Здание гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве. 1910-е гг.

Помимо своего основного назначения, гимназия служила местом проведения всевозможных собраний и культурных мероприятий города. К моменту, когда тринадцатилетний мальчик из Шепетовки Цви Прейгерзон ступил на берег Земли Обетованной, «Герцлия» уже пользовалась самой высокой репутацией. Число ее учеников достигло восьмисот, половина из них были приезжие из европейских стран и России. В гимназии работали выдающиеся педагоги.

Среди выпускников «Герцлии» была целая плеяда будущих знаменитостей, таких, как Моше Шарет (Черток) — первый министр иностранных дел и второй премьер-министр Израиля, Элиягу Голомб, бывший в течение долгого времени руководителем Хаганы, один из основателей Гистадрута (израильского профсоюза) Дов Хоз, всемирно известный физик Юваль Нееман, писатели Моше Шамир, Аарон Мегед, и много других.

В эту, без всякого преувеличения, мировую теплицу, где выращивалась будущая элита нового Израиля, посчастливилось попасть и моему папе. Скромный, умный, любознательный мальчик, он отлично прижился в новой среде, сдружился с товарищами, хорошо учился и был отмечен учителями.

Помимо основных учебных предметов, в гимназии серьезное внимание уделялось спорту, рисованию, познавательным пешим путешествиям в разные районы Страны. Приехавший из России Ханин Карчевский занимался музыкальным образованием. Он создал в гимназии струнный и духовой оркестры, переводил на иврит слова популярных песен, писал музыку и аранжировал произведения других композиторов. Песни Карчевского распевала вся Эрец-Исраэль.

Папа, с детства обожавший музыку и обладавший незаурядными музыкальными способностями, оказался в

насыщенной атмосфере еврейской песни и наслаждался каждой минутой. Любовь к музыке осталась у него на всю жизнь. Позже, в Одессе, занятия в еврейской консерватории станут одним из главных впечатлений его жизни, а скрипка — вечной любовью.

В тот же период, во время учебы в гимназии к отцу пришла и первая любовь. Мальчику нравилась темноволосая девочка по фамилии Вольфсон. Но тринадцатилетний Цви был стеснителен и не проявлял своих чувств. Впоследствии эта маленькая история о первой подростковой любви стала предметом интереса исследователей творчества Цви Прейгерзона.

Профессор Хагит Гальперин, заведующая литературным архивом при Тель-Авивском университете, решила разыскать «темноволосую девочку» — к тому времени (дело происходило в конце 80-х годов) уже весьма пожилую даму.

И что вы думаете? Бывшая «девочка Вольфсон» вскоре нашлась. Более того, она прекрасно помнила скромного и прилежного мальчика, сидевшего с ней за одной партой. Но она даже не подозревала, что Цви испытывал к ней нежные чувства. Такой вот трогательный эпизод…

Вот как описывает папа гимназию и свои занятия:

> Сама гимназия помещалась в середине здания, возвышаясь над ним. Она состояла из двух больших отделений — в одном из них, на втором этаже, в утренние часы шли занятия. Коридоры были просторными, во время уроков в них царила тишина, а в перерывах стоял шум и гам. Шоэль учился в третьем классе, изучал иврит, математику, ТАНАХ, французский и арабский языки, географию и историю. Физкультурой они занимались во дворе, преподаватель физкультуры Орлов, подтянутый статный парень, учил детей делать разные упражнения на брусьях.
>
> *(«Неоконченная повесть»)*

Одна из записей в воспоминаниях Цви Прейгерзона посвящена празднованию Хануки. Он описывает актовый зал гимназии, убранный флагами и ханукальными свечами. Там собрались все классы с преподавателями, присутствовало много почетных гостей, играл оркестр, пел хор, выступали чтецы — словом, был продемонстрирован весь репертуар художественной самодеятельности, которой в гимназии уделяли большое внимание. Старшеклассник Варди прочитал со сцены рассказ на иврите. Много лет спустя отец увидел его в Москве, причем тоже на сцене, в качестве актера театра «Габима». Для юного Цви

Прейгерзона это было незабываемое торжество: свободная еврейская молодежь праздновала национальный праздник свободы на своей собственной земле! Конечно, такое воспоминание оставило глубокий след в душе мальчика.

Быстро и счастливо пролетели первые месяцы в Тель-Авиве. Но вскоре последовал и первый удар судьбы. Дела в Шепетовке шли не так хорошо, как хотелось бы: семья испытывала денежные затруднения, и Исраэль Прейгерзон был вынужден отказаться от содержания сына в пансионе. Тридцать семь с половиной франков в месяц оказались непосильным расходом для скромного шепетовского ремесленника.

Отца перевели из пансиона в рабочее общежитие, принадлежавшее хозяину близлежащей типографии. Жить там, конечно, можно было, и новые соседи относились к мальчугану совсем неплохо, но, что ни говори, они принадлежали к иной среде, мало похожей на общество гимназистов. Обстановка в общежитии мало располагала к учебе. Привычный распорядок дня и ритм жизни оказались нарушены. Неудивительно, что мальчику было тогда непросто, одиноко, неловко перед товарищами. Наверняка, зная об этом, переживал у себя в Шепетовке, вдали от сына, и отец, Исраэль Прейгерзон.

Эрец-Исраэль входила в то время в состав Палестины, одной из многочисленных провинций Османской империи. Здесь распоряжалось турецкое чиновничество, стояли турецкие гарнизоны, а по улицам расхаживали турецкие солдаты. Все это давно уже примелькалось и стало привычным для местного населения. Не успело улечься радостное волнение после празднования Хануки в гимназии, как прошел слух, что в районе тель-авивского побережья состоится показательный полет турецкого самолета. Как видно, власти собирались продемонстрировать могущество Османской империи не только на земле, но и в воздухе.

На берегу собралось множество людей, но, увы, показ завершился трагически: самолет не смог выйти из пике и упал в море. Оба летчика погибли. Мой папа следил за полетом вместе с другими мальчиками с крыши ветхого сарая. Крыша обвалилась, папа упал с высоты нескольких метров и сломал левую ногу. Ему под наркозом вправили перелом и наложили гипс.

Впрочем, нет худа без добра: вскоре после этого Цви вернули в пансионат. Неделю-другую он провалялся в постели, но это время не прошло даром: Цви много читал и делал попытки писать свои собственные рассказы. Потом он встал на костыли и сразу поспешил в класс. Цви описывает это событие в своем дневнике. Не рассчитав времени (на костылях дорога в школу оказалась

намного дольше), он слегка опоздал и вошел в класс, когда урок географии уже начался. Ученики притихли при его появлении, а учитель Бограшов сердечно приветствовал возвращение мальчика. Отец быстро наверстал упущенное: он успешно окончил четвертый класс, и «даже по арабскому языку получил высокую оценку». Возможно, этому помогло то обстоятельство, что после больницы Цви некоторое время прожил в арабской семье.

Настало лето, и воспитатель Душман, регулярно посылавший в Шепетовку отчеты об учебе и поведении мальчика, порекомендовал им взять сына на каникулы домой. И вот мой папа плывет обратно в Одессу на том же самом стареньком пароходе. Вместе с ним плывут домой в Россию и другие ребята — среди них Авраам Шлёнский, будущий известный поэт и переводчик на иврит. Мальчики были ровесниками и наверняка хорошо знали друг друга, хотя, к сожалению, об этом не осталось никаких свидетельств. Забегая вперед, скажем, что Шлёнскому удалось вернуться в Эрец-Исраэль после окончания Первой мировой войны, когда Палестина уже была подмандатной территорией Британской империи. А пока пароход плыл к берегам Одессы, пассажиры в пути узнали, что началась Первая мировая война. Был август 1914 года.

Российские ученики «Герцлии» ничуть не сомневались в том, что осенью вернутся в любимое здание гимназии, но судьба решила иначе. Россия и Турция оказались по разные стороны линии фронта. О возвращении в Палестину не могло быть и речи. На том и завершилась учеба Цви Прейгерзона в гимназии «Герцлия». И хотя продлилась она всего лишь один учебный год, это время оставило неизгладимый след в жизни моего отца. Теперь он свободно говорил на иврите, усвоив принятое в Стране сефардское произношение (так называемый «сфарадит»). А еще он всей душой полюбил эту землю. С тех пор и до самой смерти она звала и ждала его, да и сам он всю свою жизнь стремился к ней отчаянно и безуспешно.

Одесса

Итак, папа вернулся в свой родной городок. Друзья и близкие пришли поприветствовать его, все были радостно взволнованы и горды успехами своего земляка. Но вот прошли первые дни после возвращения, отшумели праздничные вечеринки, и пришлось вплотную заняться вопросом, как быть дальше. Цви заметно повзрослел, он удивлял родных и друзей своей начитанностью, знаниями, взрослым отношением к жизни.

Возникли и проблемы: некоторые друзья и родственники наотрез отказывались принимать «заморский» сфарадит. Они упрекали Цви за привезенное из Эрец-Исраэль сефардское произношение и даже настаивали, чтобы он пользовался ашкеназским, а то и вообще переходил на идиш. Но Цви был непреклонен: сефардская версия иврита осталась с ним до конца жизни… Другая проблема заключалась в том, что такому мальчику, как Цви, уже не подходила обычная местечковая школа. Это понимали все — и родители, и учителя, и сам Цви. Но куда пойти учиться?

Выбор за Прейгерзонов, как это часто бывает, сделала сама жизнь. В начале Первой мировой войны евреи массами бежали (а то и насильственно выселялись) подальше от приграничных областей. Война сопровождалось погромами, грабежами и убийствами еврейского населения. Превратилась в беженцев и семья Прейгерзон — они переехали в город Кровелец Черниговской губернии. Забегая несколько вперед, отмечу, что сюда же переехала из белорусского Бобруйска и семья Зейгерман, в которой подрастала девочка по имени Лея. Несколько лет спустя она выйдет замуж за моего папу.

Тяжка доля беженца, но, как это ни странно, было в этом статусе и одно преимущество. В начале войны российские власти отменили процентную норму для поступления в гимназию (5 %) по отношению к еврейским беженцам. И когда осенью 1914 года в Одессу перевезли известную гимназию прифронтового города Люблина, туда со всех концов Украины устремились жаждущие знаний еврейские дети из семей беженцев. Это оказалось приемлемым решением и для Цви.

В Одессе жила тетя Гита, двоюродная сестра отца, дочь старшего брата моего деда. Она была старше папы на пятнадцать лет. Все любили эту красивую, добрую и заботливую женщину. В свое время она вышла замуж за одессита, энергичного делового человека, любителя и знатока русской словесности. В этой семье полюбили Цви, способного и дисциплинированного мальчика.

Отец прожил у них несколько лет, сохранив до конца жизни самые теплые воспоминания о тете Гите и о ее гостеприимном доме.

Перемещенная в Одессу Люблинская гимназия размещалась на улице Старопортофранковской, в помещении Второй одесской гимназии. Учились во вторую смену. Конечно, обучение велось на русском языке, что вызывало определенную тревогу: папа, увы, почти не знал русского. Дома, в местечке, говорили на идише, а по торжественным случаям пользовались ивритом. К счастью, муж тети Гиты взял Цви под свою опеку, и после трех месяцев напряженных занятий он свободно заговорил по-русски. Без этого ему не удалось бы сдать вступительные экзамены в Люблинскую гимназию.

Из романа «Неоконченная повесть»:

> Учителя и администрация новой гимназии приехали из Люблина в Одессу в полном составе, но какая же гимназия без учеников! В газетах напечатали объявления о приеме во все классы, и еврейские юноши, в основном беженцы, устремились туда. Среди них был, конечно, и Шоэль. По истории его экзаменовал сам директор гимназии, бывший преподавателем истории. Перед этим Шоэль внимательно читал страницы в учебнике Платонова о царе Петре Алексеевиче и его сестре Софье, о неудачном заговоре против Петра, о казни стрельцов и заточении Софьи в Новодевичий монастырь.
>
> И вот Шоэль подходит к экзаменационному столу, во главе которого сидит господин директор в черной форме с блестящими медными пуговицами. У него надменное морщинистое лицо, прилизанные редкие волосы, — типичный чиновник, полный собственного достоинства. Он смотрит на стоящего перед ним юношу. Шеилка взволнован, но готов к борьбе за свое будущее…
>
> В Люблине, как и в Одессе, не было недостатка в евреях. Дети этого народа настойчиво стучались в двери гимназий обоих городов. У себя, в Люблине, директор был тверд как камень, поэтому число учеников-евреев всегда соответствовало процентной норме. А теперь вдруг Министерство образования, возглавляемое Игнатьевым, дало указание разрешить евреям-беженцам учиться.
>
> — Расскажи о первых днях правления Петра Великого! — послышался скрипучий голос экзаменатора.
>
> Вот и не верь после этого в чудеса! В книге

Платонова целых три страницы посвящены именно этому событию — воцарению Петра. Эти три страницы стоят перед глазами Шоэля, он даже видит каждую букву. Но и директор помнит их. А теперь этот еврейский юноша стоит перед ним и в точности пересказывает ему текст Платонова. Дрогнула душа директора: «Достаточно!» — останавливает он Шоэля и что-то записывает в блокнот.

Это была победа! Шоэль Горовец принят в русскую государственную гимназию. В городок летит телеграмма, и в доме Йоэля шумит большой праздник. Свершилось! Наконец-то один из внуков Моше-меламеда выходит на широкую дорогу…

Став гимназистом, Цви одновременно поступил и в консерваторию по классу скрипки. Но ни русская гимназия, ни любимая скрипка не могли затмить главную страсть его жизни — иврита. По вечерам папа посещал известную в то время светскую иешиву, которой руководил Хаим Черновиц, или, как его еще называли, «рав цаир», молодой раввин. Здесь преподавали Бялик и Клаузнер; именно здесь, в Одессе, окончательно определилось литературное призвание Цви Прейгерзона.

Особая духовная связь возникла у отца с Иосифом Клаузнером. Известный историк уделял мальчику особое внимание, направлял его духовное развитие, определял круг его чтения, подолгу беседовал с ним на самые серьезные темы истории и культуры. И папа никогда не забывал своего знаменитого наставника. «Мой отец, мой учитель! Клянусь, что до последнего вздоха буду предан ивриту!»

Эти слова он напишет спустя много времени, когда в 1957 году до него дойдет весть о смерти Клаузнера.

Иосиф Клаузнер. 1910-е гг.

Из лагерных воспоминаний отца:

> Большинство учеников Люблинской гимназии были из еврейских семей. Детей беженцев принимали сверх процентной нормы. Я тоже был беженцем из Шепетовки. Из гимназистов Люблинской гимназии я помню Зинюка, Полищука, Медведева, — все евреи, среди них — Зюзю Шульмана, сына знаменитого кантора, певшего в одесской синагоге. Однако я предпочитал слушать Минковского, певшего в Бродской синагоге, и его замечательный хор, в котором под звуки органа пели и девочки: «Мэкадеш мелех ир мэлуха»…
>
> По субботам и праздникам, а иногда и в будни, я ходил слушать Минковского. В те годы Одесса была еврейским городом, здесь жили Бялик, Клаузнер, Усышкин, здесь работало издательство «Мориа».
>
> В изучении иврита моим наставником был тогда Клаузнер. Я бывал у него дома, и он давал мне книги для чтения В первое посещение он дал мне полное собрание Ялага в черном переплете, Клаузнеру было тогда лет сорок…
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*[4]

И далее:

> Я жил в Одессе несколько лет, с 16-ти до 19-ти лет, там я стал юношей; там в годы войны и разрухи я приобрел все, что определяло мое еврейство. Я учился в 7-й гимназии, в еврейской консерватории, где А. Гордон учил меня теории музыки, а Левин — тот, что был в прошлом учителем Яши Хейфеца — учил меня играть на скрипке. Я дышал морским воздухом Одессы, купался, загорал, рос под ее небом. Звезды этого города светили мне ярким светом и пророчили светлое будущее. Бродская синагога, Иосеф Клаузнер, консерватория, журнал «Ха-Шилоах» — все это воспитывало меня в еврейском духе. Я посещал и спортивное общество «Маккаби». В Одессе я слышал выступления писателей Мордехая Спектора и Якова Фихмана, адвоката Оскара Грузенберга; видел актрис Эстер Рахиль Каминьскую в спектакле «Мирале Эфрос» и Клару Юнг в «Пупсике»; слушал еврейские народные песни в исполнении Изы Кремер. Это был мир моей юности, моего формирования. Все это живет во мне и по сей день…

Цви играет на скрипке. 1919 г.

В Одессе Цви не просто повзрослел — в его мировоззрении произошли серьезные изменения. Позже он так напишет об этом:

> В пятнадцать лет пришла ко мне, как всякому юнцу, пора критиканства. Начальные ценности рухнули, пролегла трещина, превратившаяся в глубокую пропасть, на долгие годы ставшая между мною и Богом. Ибо место религии заполнил сионизм.
>
> *(Рассказ «Мой первый круг»)*

А вот еще один фрагмент из «Дневника воспоминаний», где отец пишет о своих беседах в лагере с заключенным из Одессы:

> Внешне Школьник как будто мало чем выделялся среди окружающих, но манерой разговаривать, душевностью превосходил многих. У него была еврейская душа, он хорошо говорил на идише. Уроженец Одессы, он жил там с начала нашего века и еще помнил еврейские организации и учреждения того времени. Он, к примеру, хорошо знал кантора Минковского из Бродской синагоги, помнил его ритуальные песнопения. У нас даже возникли разногласия по поводу того, как надо петь молитву «Микдаш мелех ир мэлуха», которую пел Пинхас Минковский. Я помнил свой вариант, а Школьник меня стал убеждать, что эта молитва поется иначе. В ночной тишине, в заснеженной тундре, на дорожках между бараками Школьник напевал мне тихим голосом свой вариант молитвы.
>
> Немало мы гуляли со Школьником среди холодных северных туманов. На огромной территории 1-го ОЛПа

(отдел лагерного подразделения. — *Н.Л.*) мы искали малолюдные места и там предавались воспоминаниям об Одессе.

Мы расхаживаем со Школьником по лагерным дорожкам, окутанным северной мглой и снегом. И нам казалось, что в вышине, над нашими головами, сияет одесское небо…

После Октябрьского переворота перед папой возник выбор: уехать в Эрец-Исраэль сразу или все же получить сначала высшее образование, которое стало в те времена реальной возможностью для многих евреев. Он выбрал второй вариант, отложив тем самым свой неизбежный, как казалось тогда, отъезд в единственно желанную Страну. Кто мог в те годы знать, что обстоятельства повернутся иным, совершенно непредвиденным образом?

Гражданская война принесла с собой новые тревоги, пугающую неопределенность, слухи о погромах, о бандитах Гуляй-Поля. Все чаще звучали имена бесчинствующих атаманов. Жизнь в Одессе становилась опасной, в особенности по ночам.

В Одессе орудовали не только воровские шайки, но и бандиты-одиночки. Во многие дома пришла бедность. Создавались комитеты помощи пострадавшим во время войны евреям, полякам. Революция и Петроград были далеко, об опасности не хотелось думать, и многие продолжали жить своей обычной жизнью — так, словно за окном ничего не происходило. Люди прятали тревогу в потаенных уголках души; кто-то по-прежнему развлекался, кто-то играл в карты. В Одессе продолжалась интенсивная еврейская жизнь.

Из романа «Неоконченная повесть»:

В театре Болгаровой поставили спектакль «Яаков и Эсав». Работала также группа еврейских актеров под руководством режиссера Канапова. Они давали спектакль «Обострение» Рейзельмана, в котором блистала Мальвина Сигальская в роли Фани, девицы из публичного дома. Она сильно и впечатляюще выразила настроение своей героини накануне дня Йом-Кипур. Трудно поверить, но вся эта драма разворачивалась на фоне мелодии «Кол Нидре». Канапов был настоящий мастер, умевший отвечать на запросы времени. В дни Хануки показали также спектакль «Волчок», который шел вместе с захватывающей драмой «Возвращение с фронта», — то был незабываемый вечер.

В первый же день Хануки провожали в последний

путь Менделе Мохер Сфарима. На его похороны пошел и Шоэль. Площадь заполнилась множеством людей, Шоэль старательно вытягивал шею, но видел гроб только издалека. С Менделе ушло принадлежавшее к прошлому веку поколение просветителей, шедшее по многотрудному пути во имя поставленных светлых целей. С глазами, полными печали и сожаления, провожала Одесса старого писателя. Пройдут годы, и от всего этого ничего не останется. Но в те времена еще бурлила еврейская жизнь в Одессе, еще светились имена Бялика и Равницкого, Клаузнера и Фихмана, Минковского, Шульмана… Но метла, завернутая в серую шинель, была уже на подходе, готовая вымести все то, чем мы жили, с корнями вырвать память о дорогих сердцу поколениях.

В то время сионистски настроенная молодежь небольшими группами уезжала в Эрец-Исраэль. Среди них и много друзей Цви Прейгерзона; расставание с ними давалось ему мучительно больно. Но он не поехал с ними, оставаясь верным принятому решению. В Страну отец хотел приехать, имея в своем распоряжении полезную профессию: еврейскому ишуву нужны специалисты, врачи, инженеры… Но душе не прикажешь — душою он был с теми, кто уезжает.

А к северу от Одессы творились тем временем ужасные злодеяния. Из романа «Неоконченная повесть»:

Немецкая армия покинула Украину, 13-го октября 1918 года было упразднено Брест-Литовское соглашение, и Красная армия начала освобождать Украину, область за областью. Однако советская власть еще не обрела устойчивости, поэтому была образована украинская Директория во главе с Винниченко, а первым гетманом армии этой Директории стал Петлюра. В середине декабря войска Петлюры вошли в Киев, а Скоропадский, всеукраинский гетман, бежал за границу, переодевшись в форму немецкого офицера.

Период, связанный с Петлюрой, остался в памяти еврейского народа как один из самых кровавых в его истории. Кроме петлюровских банд в Украине действовали и другие группы бандитов: Махно, Энгель, Григорьев, Зеленый, Маруся, Самосинко, Волынич, Струк, Соколовский, Чепа… «Бей жидов, спасай Россию!!!» Вместо борьбы с большевиками убийцы выливали свою ненависть на беззащитное еврейское

> население. Бандиты проявили дикую жестокость, издеваясь над своими жертвами, отрезали носы, уши, языки, половые органы, ломали руки и ноги, выкалывали глаза, вырывали волосы, топили, закапывали живьем, насиловали девушек и женщин на глазах близких, пытали и издевались над телами и душами.

На фоне массовых погромов и разрушения еврейской жизни символом спасения и надежды стала для евреев Красная армия. Так, герой романа «Неоконченная повесть» говорит своим товарищам, что он «глубоко убежден, что еврейская молодежь не вправе стоять в стороне от событий, когда белополяки, Петлюра и другие сборища бандитов продолжают убивать евреев. Мы должны присоединиться к Красной армии, чтобы воевать против наших убийц… и я, Шоэль Горовец, желаю пойти в Красную армию».

Советская власть в тех краях окончательно установилась лишь через три года после Октябрьского переворота. Трагические события этого периода полностью изменили жизнь и судьбы евреев в западных областях России. Во всех ранних произведениях отца звучит эта тема: погромы, война, разруха. Юноша Цви, приезжая летом из Одессы в Кролевец, где жили его родители, не сидел сложа руки, он старался всеми силами помочь разорившейся семье.

В 1919 году, окончив гимназию, Цви окончательно переезжает в Кролевец к родителям. Там продолжают свирепствовать банды бандитов.

> Пьяные бандиты бродят но улицам городка. Крики, хохот, свист, хрипящие голоса: «Эх, яблочко, куда ты котишься?»; «Потеряй моя телега все четыре колеса!»; «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить»… и вот уже слышится сильный стук: «Открывайте!» Сердца замирают от страха, волосы встают дыбом, — это смерть стучит в дверь.
>
> После прихода красных на стенах домов появились огромные цветные плакаты, где было крупно написано, что польские паны — буржуи и землевладельцы — последняя отрыжка капитализма. Отныне в городском саду каждое воскресенье устраивались митинги… После каждого словоизвержения публика сдергивала с головы шапки, а оркестр играл «Интернационал». Дирижер Шимон Воловик энергично мотал плешивой головой в ритм музыке.

Однажды он пришел к нам домой и уговорил меня поступить в его оркестр — им нужен был второй бас. Помню его грустное лицо и слова: «Мы тебе положим тридцать тысяч рублей и полпуда муки…»

…я был принят в оркестр и в тот же вечер уже держал в руках змеевидную металлическую трубу.

(Рассказ «Мой первый круг»)

С приходом красных евреи, избавленные от бандитских погромов, от всей души приветствовали появление новой власти.

Бывало, мы нагружаем пару телег инструментами и отправляемся на «гастроли» в окрестные деревушки. По обе стороны раскинулись молчаливые поля, легкий ветерок пригибает низкие колосья, на все лады звенят и стрекочут кузнечики и цикады, и все эти отрывающиеся от земли звуки поднимаются к прозрачным облакам, где замирают и теряются. Речка, как бы осторожно осматриваясь, плавно выгибается, обходя кусты и деревья, блистающие изумрудной зеленью…

Наши телеги обычно доезжали до висячего деревянного мостика. Здесь цоканье копыт затихало. В деревнях один за другим уже гремели митинги, и после каждой речи наш оркестрик «врезывал» Интернационал. Потом, разбившись по двое или по трое, мы расходились на постой… Спали мы на душистом сене. Здесь я провел одну из душных и беспокойных ночей с милой местной девушкой…

(«Мой первый круг»)

В 1919 году отец уходит добровольцем в Красную армию.

Москва

В Красной армии отец, скорее всего, как и его герой Шеилка, работал санитаром и сопровождал обозы с ранеными. А в конце 1919 года, следуя своему первоначальному плану, он уехал в Москву получать высшее образование. Там папа поступил в Московскую горную академию. Почему именно туда — ведь главным его интересом был любимый иврит?

Как он рассказал мне через много лет, первым его побуждением было подать документы в Институт восточных языков. Но, взвесив все «за» и «против», папа передумал. Мне кажется, главным обстоятельством, решившим дело в пользу Горной академии, были соображения практической пользы, которую отец намеревался принести своей любимой Эрец-Исраэль. Там ведь и без того было достаточно много людей, говоривших на самых разных восточных языках. А вот специалистов по горным породам и минералам — раз-два и обчелся…

Цви — студент Горной академии

Определенную роль сыграло и то, что Академия (впоследствии переименованная в Горный институт) предоставляла своим студентам общежитие и форменную одежду. Так отец стал «горняком» и вселился в студенческое общежитие Началась московская глава его жизни.

Вначале в большой мир из местечек потянулась

молодежь. Легионы комсомольцев с горящими глазами разлетелись по необъятным просторам СССР, вливаясь в ряды его строителей. Вослед им двинулись старики, и вот тогда-то, вконец опустев, местечки покрылись пылью забвения. Разъехались все кто куда, а за ними поплыл по течению и я…

Помню, как собирали субботние лампы, таллит и тфиллин, старинные книги и домашний скарб и укладывали их в картонки и ящики. Ибо отныне этим вещам предстоял длинный путь к незнакомым местам. Вместе с ними, тоскливо оглядываясь на родные места, шагали к вокзалам вереницы лавок и синагог. В дороге путников догоняла осень, земля выталкивала из себя сладковато-гнилые запахи, и теплый густой туман низко стлался над полями. Налетал ветер, в который раз равнодушно перелистывая книгу истории нашего народа.

(Рассказ «Машиах Бен-Давид»)

Этот ветер подхватил тогда многих, кто мечтал об учебе, работе и карьере. Сотни, тысячи молодых людей возлагали надежды на новые времена, наступившие с утверждением советской власти. Учись где хочешь, получай какое хочешь образование, приобретай любую специальность!.. Как тут было не дрогнуть перед столь заманчивыми надеждами! И еврейская молодежь спешила к мечте, а с ними и мой отец.

Я был тогда костлявым парнем в мятом костюме и старомодном галстуке — провинциалом, только-только прибывшим в большой город из местечка. Маршрут мой был в то время типичным для многих еврейских душ. Из глухих местечек вела нас эта дорога к вершинам образования. Шагал по ней и я, оказавшись вначале в этом красивом доме, боковым фасадом своим выходившим на Большой театр. Здесь проживал мой приятель Аба Берман, покинувший местечко на полгода раньше меня… По обычаю тех дней, укореняясь в новых местах, мы всегда могли рассчитывать на помощь и поддержку земляков.

(Рассказ «Княжна», пер. с иврита Алекса Тарна)

Так оно, собственно, и было: тот, кто приезжал раньше, тянул за собой другого, третьего, и все как-то устраивались, где-то жили, учились, работали. Прототипом Абы Бермана из рассказа

«Княжна» был, по-видимому, близкий друг отца Юда Фейгин. Наши семьи дружили, я часто бывала с родителями в этом доме.

Жизнь в Москве, как и в других крупных городах, оказалась нелегкой для большинства молодых людей из местечек. Отец бедствовал, ходил в башмаках с подвязанными подметками. Будучи студентом, он пытался заработать тем, что давал уроки иврита детям состоятельных родителей. В конце жизни отец рассказал мне об этом: «Со временем уроков становилось все меньше и меньше, платили копейки, и вскоре я давал уроки только за обед. А потом и эти уроки закончились».

Но, несмотря на нужду, отец умудрялся бывать в театре. Конечно же, ходил в «Габиму», пересмотрел все постановки МХАТа, несколько раз ему удалось даже послушать самого Шаляпина.

Спустя годы он напишет, что спектакли этих театров были для него «днями праздника». Но как же такое могло быть? Ведь билеты стоили совсем недешево! А на то и хитрые уловки молодости: отец оставлял верхнюю одежду в своем общежитии на Ордынке и в пиджаке бежал в театр ко второму действию, чтобы во время антракта вместе со зрителями незаметно просочиться в зал.

Начало 20-х годов, на которые пришлись первые годы жизни отца в Москве, было тревожным: бундовцы перебирались в Польшу, большевики взяли курс на замену иврита идишем. Иврит становится запрещенным языком.

> Спустя какое-то время еврейская интеллигенция в нашей стране повернулась в сторону языка идиш. Пришли новые специалисты, выпускники школ, начавшие по-новому обучать детей в этих новых условиях. Загнанный, задушенный иврит молчал…
>
> И только в одном из переулков Москвы шли спектакли «Габимы». Преследуемое ивритское слово, в полный голос звучавшее в этом единственном месте, излучало свет и грело душу. И это слово пугало врагов. И все же, как такое могло быть? Всего лишь в пяти минутах ходьбы от главного управления евсекций, — эта дверь с вызывающей надписью «Габима». Всего лишь на четвертый год после Октябрьской революции — и по-прежнему театрик на иврите? Невозможно! После стольких лет борьбы со «святым ивритом» — и вот тебе на! Выходит, что закопанный мертвец вылезает из могилы?.. Иврит в «Габиме» звучит с сефардским произношением, причем актеры так бегло говорят на

нем, словно появились с ним из чрева матери. И написанные на идише пьесы Пинского и Шолом-Алейхема звучат на иврите! Перевод с языка народа на язык реакции! Ну уж, извините! Такую роскошь могут себе позволить только евреи-буржуи, купающиеся в миллионах грязных купюр. Если советский строй уничтожил «Тарбут», почему он терпит «Габгшу»? Надо ее прикрыть точно так же, как это было сделано с другими ивритскими организациями…

Но вот и новости: в Москве открывается Государственный Камерный театр на идише. Во главе театра стоят Алексей Грановский, человек с европейским образованием, художник Марк Шагал, в театр вливаются молодые свежие силы. И вскоре одна за другой пошли премьеры: «Агенты», «Ложь», «Желаем счастья» Шолом-Алейхема. Свой прекрасный и трагический путь начинает Шломо Михоэлс-Вовси. В литературу и искусство приходят талантливые имена. Это то время, когда идиш переживает свой недолгий, но великолепный период расцвета. Мы находимся в начале 20-х годов.

(«Неоконченная повесть»)

К этому периоду относится такой случай. Наш дальний родственник Исраэль Савирай, попавший в Палестину еще ребенком, в начале 20-х годов посетил Советский Союз. Он решил познакомиться с отцом и пришел к нему в общежитие. Не пройдя «школу революции», наш милый родственник стал громко обсуждать на иврите взаимоотношения Бунда с другими еврейскими партиями.

Потом, будучи очень пожилым человеком, он заявил мне во время встречи в Тель-Авиве (уже после нашей репатриации): «Я встречался с вашим отцом в Москве. Он не отличался храбростью и был так напуган, что силой увлек меня в свою комнату». Сначала я опешила от такой наивности, но, поразмыслив, нашла ситуацию скорее забавной. Напротив меня сидел человек совершенно неосведомленный, искренне не представлявший себе, чем могли закончиться тогда подобные разговоры в московском студенческом общежитии!..

В конце своей жизни отец рассказывал мне, что при поступлении в Академию надо было заполнить анкету с вопросами об образовании, сословной принадлежности, семейных доходах, а также сообщить о партийной принадлежности и политических симпатиях. Отец, никогда не состоявший ни в одной партии, написал, что сочувствует Бунду. Многие годы он

ждал реакции на это неосмотрительное признание, которое вполне могло закончиться арестом, а то и расстрелом. Но реакции не последовало. Отец много потом размышлял о том, как такое могло случиться. Единственное объяснение заключалось в том, что анкета попала в руки человека, знавшего отца и ценившего его, и тот просто уничтожил ее, сознавая, что подобные признания не остаются без последствий.

Продолжая тему анкет: когда, в начале 50-х, я училась в медицинском институте, мне тоже предложили заполнить анкету. Один из вопросов касался места работы родителей. Папа сидел с 1949 года, и, естественно, я стремилась скрыть этот факт. Но и неправду писать не хотелось. И я написала в соответствующей графе: «Отец с семьей не живет». Рядом сидела моя подруга, которая жила тогда вдвоем с матерью, и я полагала, что ее родители состоят в разводе. Скосив глаза в ее анкету, я увидела в той же графе точно такой же ответ: «Отец с семьей не живет». Тут уже мне трудно было сдержать улыбку: меня вдруг осенило, что причина такого ее ответа была аналогична моей.

Отца с молодого возраста многократно призывали вступить в Коммунистическую партию. Заведующим кафедрой в высшем учебном заведении мог стать в Советском Союзе только коммунист. Вступив в партию, отец без всяких усилий получил бы эту должность. Помню, как настойчиво звали его возглавить кафедру обогащения угля в Донбассе, куда он приезжал со студентами на практику. Но папа всегда отказывался от предложений подобного рода, объясняя свой отказ тем, что не считает себя вполне достойным высокого звания члена партии и предпочитает до поры до времени оставаться, как тогда говорили, «беспартийным большевиком». Разумеется, истинная причина заключалась в том, что пребывание в компартии было несовместимо с его принципами. Впрочем, служебная карьера никогда не влекла моего отца. Будучи необычайно скромным человеком, он не стремился к высоким должностям, предпочитая заниматься наукой и писать учебники и монографии.

Но при всей своей удивительной скромности, отец в то же время был человеком гармоничным в самом высоком смысле этого слова. В нем совмещались писательский талант и реалистическое художественное видение. Он с легкостью переходил от написания высокохудожественных литературных произведений к сугубо профессиональным текстам про свойства горных пород и способы брикетирования угля. А затем, отложив узкоспециальную монографию, брался за скрипку.

Но все же главным для него всегда оставался иврит. Папа прекрасно знал Тору, Талмуд, апокрифическую литературу и

страстно любил свой народ и его историю. Он обладал особым обаянием и необыкновенным чувством юмора, был удивительно интересным собеседником. Яркие грани его личности и таланта сверкают на страницах его сочинений. А сочинять, как я уже говорила, он начал еще в детстве, и с тех пор, где бы ни находился, продолжал писать на своем любимом языке, на иврите.

Для меня отец заметно выделялся из любой среды, кто бы его ни окружал. Я чувствовала, что его мысли и глаза всегда устремлены к той путеводной звезде, которая освещала его дорогу до самого конца. Его поистине иррациональная тяга к ивриту носила характер страсти. В ней сплелись и боль, и восторг, и затаенное, загнанное в глубины души еврейство, от которого он никогда не отказывался. Это была ноша, которую отец осознанно и радостно взвалил на свои плечи, та поющая струна, которая не оборвалась и после его смерти, продолжив звучать в его произведениях. В «Дневнике воспоминаний» он пишет: «Уже в тюрьме я дал клятву, что не оставлю иврит, и я исполняю ее по сей день, пусть даже арестуют меня во второй и третий раз. До последнего дыхания моя любовь и вся моя душа отданы ивриту». Он любил все общины и все поколения своего рассеявшегося по миру народа Он испытывал к ним особую нежность — к этим разным, мало похожим друг на друга евреям, которые говорили на разных языках, носили разные одежды и даже по-разному произносили слово «шабат»…

Первым опубликованным произведением Цви Прейгерзона был рассказ *«Би-шнот ха-бегала»* («В годы страха»). Он был напечатан в январе 1927 года в журнале *«Ха-Олам»*, который выходил на иврите в Лондоне.

Период, охватывающий 1927 — 1934 годы, оказался плодотворным в творчестве отца. Он много писал и посылал свои произведения за рубеж в ивритские журналы и газеты, такие, как *«Ха-Олам»*, *«Ктувим»*, *«Ха-Ткуфа»*, *«Ха-Доар»*, *«Гильонот»*, *«Давар»*, *«Мусаф»*, *«Хэдим»*… В 1934 году, с наступлением «большого террора» (убийство Кирова), посылать произведения на запрещенном языке за границу стало необычайно опасно, и отец стал писать «в стол».

Большая часть этих рассказов вошла в цикл «Путешествия Биньямина Четвертого».

Надо сказать, что это имя — Биньямин — сыграло заметную роль в творчестве отца, да и в нашей жизни. Во-первых, так он назвал своего сына — моего младшего брата. А во-вторых, одного из главных персонажей его творчества звали тоже Биньямин — от его имени Цви Прейгерзон нередко вел разговор с читателем.

Почему Четвертый? На этот вопрос ответил в своей публикации историк-востоковед проф. Михаэль Занд («Возрождение». 1987. № 10. Иерусалим). Первым Биньямином в еврейской литературной традиции стал испанский еврей, живший в XII веке, — Биньямин из Туделы. Как известно, он написал на иврите книгу о своих путешествиях по странам еврейского рассеяния тех лет. Биньямином Вторым назвал себя спустя семь столетий бессарабский еврей, также издавший книгу путешествий. В поисках исчезнувших десяти колен Израиля он проехал в 1840 — 1850 годах по целому ряду стран от Северной Африки до Китая. Книга эта тоже была написана на иврите, но первое ее издание вышло в свет во французском переводе. Биньямин Третий — главный герой повести Менделе Мохер-Сфарима (1836 — 1917), которая так и называлась: «Путешествия Биньямина Третьего» Это своего рода еврейский Дон-Кихот, путешествие которого предстает комически-фантастической вариацией на тему трагичности еврейского существования в черте оседлости.

Ну, а Биньямин Четвертый — это сам Цви Прейгерзон. Основная тема цикла рассказов — города и местечки бывшей черты оседлости, гибель традиционного уклада еврейской жизни. Тональность и стиль этих рассказов неоднородны: они то близки к репортажу, то почти сюрреалистичны, то комичны, то пронизаны ностальгией, то суховато-серьезны. Но при всей этой разности их объединяет щемящее чувство утраты целого пласта еврейской истории и культуры.

Параллельно с занятиями литературой отец, еще будучи студентом, начал работать в институтской лаборатории и опубликовал ряд научных работ. Эти профессиональные успехи в сочетании с высокой работоспособностью не остались незамеченными. Когда в Горном институте создали кафедру обогащения угля, отец, к тому времени получивший диплом с отличием, был оставлен там в качестве научного сотрудника. В дальнейшем он стал замечательным лектором, крупным ученым, заложившим основы науки обогащения угля в Союзе.

Однако «не этим памятен Цви Прейгерзон своему народу, — пишет в той же статье Михаэль Занд, — он был из тех немногих, кто продолжал в Советском Союзе творить на иврите, и среди этих немногих он был, несомненно, самым крупным прозаиком».

В 1925 году Прейгерзон познакомился с другим Цви — Плоткиным. Эта настоящая дружба выдержала затем испытание временем и самыми тягостными обстоятельствами Забегая вперед, скажу, что Плоткина арестовали в 1948 году, а в 1949-м — отца, и друзья расстались на долгие годы, но дружба

возобновилась тотчас же по возвращению из лагерей.

Цви Плоткин

Цви Яковлевич Плоткин — Моше Абрамсон, (1895 — 1968) — прозаик, поэт, писал на иврите. Печатался под псевдонимом Моше Хьёг и др. Он родился в семье преподавателя иврита, учился в русских и польских школах и знал несколько европейских языков. Но иврит для Плоткина, как и для моего отца, был языком детства, родиной, призванием.

Как и большинство талантливых молодых евреев, униженных чертой оседлости и местечковым бытом, Плоткин радостно встретил революцию 1917 года. Владевший многими языками, Плоткин занимался синхронным переводом.

В 1922 году Плоткин поступил в Московский институт восточных языков. Как вы помните, туда же хотел пойти и мой отец, так что знакомство этих двух единомышленников могло состояться намного раньше. Но жизнь решила иначе, и друзья встретились лишь три года спустя. Иврит прочно, на всю жизнь, связал их судьбы

Вскоре Плоткин был отчислен из института из-за идейных разногласий, но это не отразилось на его искренней вере в идеалы Октября. В среде еврейских литераторов у него было немало единомышленников. Плоткин участвовал в изданных ими литературных сборниках на иврите: *«Цилцелей шема»* («Звенящие кимвалы», Харьков, 1923), *«Гааш»* («Неистовство», Киев, 1923), *«Берешит»* («Вначале», Берлин, 1926).

Последний сборник (на его титульном листе местом издания вместо Берлина указаны: Москва — Ленинград) был наиболее заметным и интересным из всех. По замыслу его создателей, Моше Хьёга (Цви Плоткина) и Шимона Ха-Бонэ, эта книга должна была положить начало новой эпохе революционной ивритской

литературы. Уже отпечатанный сборник был запрещен в СССР и изъят из употребления. Сохранились лишь отдельные экземпляры.

Отец не принимал участия в этих сборниках по очевидной причине: ему, сионисту, были чужды идеи группы «октябристов». Тем не менее, это не помешало его долголетней дружбе с Плоткиным — дружбе, скрепленной великой преданностью к ивриту.

Дом на Погодинской

В 1925 году мой отец женился на Лие Борисовне Зейгерман. Их знакомство, быстро переросшее в любовь, произошло следующим образом. Как я уже говорила, в начале Первой мировой войны семья моего отца покинула Шепетовку и переехала в Кровелец. Туда же из Бобруйска, из Белоруссии, переехала и семья моей матери. Во время своих наездов в Кровелец, вначале из Одессы, а потом из Москвы, Цви и встретился со своей будущей женой.

Цви с женой Лией. 1934 г.

Моя мать была активная сионистка, успевшая в свои юные годы заметно проявить себя в этом качестве. Она энергично участвовала в работе местных сионистских кружков — именно там молодые люди и познакомились. За свою активную деятельность мама получила от общества «Маккаби» сертификат на въезд в Палестину. Сертификатов давали крайне мало, зато желающих их получить было много, так что мама действительно имела хорошую репутацию среди местных сионистов.

Но знакомство с московским студентом перечеркнуло прежние планы: Лея вышла замуж за Цви Прейгерзона и уехала с ним в Москву. А драгоценный сертификат достался ее брату Грише.

Мое первое воспоминание об отце связано с закрытой дверью в его рабочую комнату. Когда папа дома, он всегда работает, а мама постоянно напоминает:

— Не шумите, не мешайте папе!

Следующее яркое воспоминание: мне пять или шесть лет, и отец спрашивает:

— Кто был на елке у соседей?

— Я, Ася, Юра и Инна!

— Нельзя так говорить, — отвечает он. — «Я» всегда должно стоять в конце. Надо сказать: Ася, Юра, Инна и я.

Это был важный урок, я запомнила его на всю жизнь. Помню еще, как отец разрезал яблоко на две половинки и предложил выбрать одну. Конечно, я беру ту, что побольше, — пусть другая достанется сестре Асе!

— Так нельзя! — останавливает меня отец. — Себе надо брать ту, что поменьше!

Так оно и поныне: всякий раз я испытываю чувство неловкости, если мне попадается что-то лучшее, большее.

Как-то я похвасталась, что написала стихотворение

— Ну, давай, прочти!

Я радостно прочла вслух свое гениальное творение про елочку, Деда Мороза и пионеров-октябрят.

— Да-а, — протянул отец, — нет у тебя писательского таланта… жаль!

Потом я нарисовала лошадь.

— Дай-ка взглянуть, — сказал папа.

Я протянула ему свой альбом с новым рисунком. Он посмотрел и перевернул страницу — следующая была чистая.

— Это самая лучшая страница в твоем альбоме!

Так были последовательно забракованы две мои возможные карьеры — поэтическая и рисовальная. Обидно…

Тогда займемся музыкой! — решили родители.

Отец был необыкновенно музыкален: во время учебы в Одесской консерватории ему предрекали славное музыкальное будущее. Словом, как и в большинстве еврейских семей, была приглашена для девочек преподавательница музыки. Расскажу связанную с этим печальную историю.

В Москве, на улице Погодинской, дом 2/3, где прошло наше с сестрой Асей детство, возле дома был большой двор. Там мы обычно гуляли с подружками. Однажды, зимой 1938 года (мне недавно исполнилось семь лет), мы играли во дворе с Надей Лавровой, с которой я потом училась в одной школе. Она, как мне помнится, была на год младше меня. В этот день выпало много снега, и мы делали снежную бабу. Москвичи, наверно, помнят, что без такой бабы редко обходился московский двор. Скатали три снежных кома: на один — большой, в два охвата — поставили ком поменьше, а затем еще меньше. В верхнюю часть вставили

вместо носа обломок ветки (иногда вставляли морковку) — и баба готова.

В это время во двор вошел отец Нади.

— Разве это баба? — сказал он.

Надин отец поднял валявшуюся рядом деревянную щепку, сделал, казалось, всего два-три движения, и — о, чудо! — наша баба превратилась в симпатичную девочку в шапке, с челкой, небольшим носиком и милой улыбкой. Более того, эта девочка была удивительно похожа на Надю.

Хорошо помню впечатление, которое произвел на меня Надин отец: высокий, стройный, в красивом заграничном пальто, с внешностью настоящего артиста. Все наши знакомые носили в то время обычную малопривлекательную советскую одежду. А скульптор Лавров вернулся в Россию из Франции с женой-француженкой и дочерью Надей. Они жили в нашем доме на первом этаже в коммунальной квартире, мы жили на втором.

Скульптор Лавров создал очень популярную скульптуру «Сталин и Мамлакат», и хотя их автор был репрессирован, ее копии находились во многих местах, в том числе и в нашей школе. На ней сохранилась гравировка его имени.

Почему мне так запомнился этот незначительный эпизод с «бабой»? Возможно, потому, что после этого я больше никогда не видела Надиного отца. С нами, детьми, никогда не обсуждались случаи исчезновения людей из нашего дома. Но арест Лаврова вскоре перестал быть для нас секретом. Его жена — нежная, кроткая женщина, почти не говорившая по-русски, осталась с дочерью одна, в безвыходном положении. Наша мама не могла не помочь попавшему в беду человеку. А чтобы это не выглядело милостыней, она предложила Надиной маме давать нам с сестрой уроки музыки.

Так у нас появилась учительница музыки. Она не была профессиональным педагогом, а мы, пользуясь мягким характером нашей преподавательницы, часто не выполняли задания, прятались от нее у соседей или запирались в туалете. На что она реагировала совершенно беззлобно: «Ничего, приду в другой раз». Лишь позднее мы поняли, почему наши родители не особо настаивали на том, чтобы мы изменили свое отношение к урокам музыки: они почти не обращали внимания на наши прогулы и игру в прятки. Ведь истинной целью этих занятий было вовсе не наше музыкальное образование…

И все же кое-какие навыки остались: весной 1941 года меня приняли в музыкальную школу. Но война смешала все карты. После возвращения из эвакуации мы уже не застали ни Надю, ни ее маму. Лишь в подъезде долго еще валялись книги на

французском языке. Продать их было невозможно, и все они пошли на растопку еще до конца войны.

Почти в каждой квартире нашего дома кто-то был репрессирован. В нашем подъезде жила Лера Левинсон, моя ровесница. Мы одновременно поступали во Второй московский медицинский институт, а потом некоторое время после его окончания работали в одном роддоме микропедиатрами. Ее мать работала кардиологом в Боткинской больнице, а отца не было. Он объявился много позже и совершенно внезапно, в 55-м или 56-м году — вернулся из лагеря, после чего, увы, долго не протянул… Лера сейчас живет в Бостоне, и мы иногда общаемся.

Напротив нашего дома стояла небольшая церковь, знаменитая тем, что в ней венчались Антон Павлович Чехов и актриса Художественного театра Книппер-Чехова. Никакого указания на это, никакой таблички на церкви не было. В мои студенческие годы там располагался склад спортивной утвари. Ну, а теперь, в начале XXI века, и наш дом, и все окрестные здания снесены, строится новомодный многоэтажный жилой комплекс.

А тогда дом на Погодинской представлял собой крепкое кирпичное двухэтажное здание. До революции оно принадлежало промышленнику Ливерсу. На нижнем этаже находился большой продовольственный магазин, его даже в наши дни так и называли — «Ливерс». Хозяин жил с семьей в просторной квартире, занимавшей весь второй этаж. Говорили, что он успел бежать за границу после революции. При советской власти квартиру разгородили дополнительными перегородками для увеличения количества комнат и превратили в коммунальную.

В 1930 году этот дом перешел к Московскому горному институту, и комнаты распределили между преподавателями. Отец, заведовавший тогда лабораторией, получил одну комнату площадью 15 кв.м. Моей сестре Асе к тому времени исполнилось два годика, и мама была беременна вторым ребенком, то есть мною.

Отец привык довольствоваться малым, но на сей раз нашла коса на камень: мама решительно отказалась въезжать в эту комнату, сказав, что не представляет, как они поместятся вчетвером с двумя маленькими детьми в такой маленькой комнатушке. И не только отказалась, но и подкрепила свои слова действием: взяла Асю и уехала к своей матери в Краснодар, пригрозив, что не вернется, пока отец не получит б***о***льшую жилплощадь.

Папа оказался в нехарактерной для него ситуации: скромный, деликатнейший человек, он никогда для себя ничего не просил.

Но здесь у него просто не оставалось выхода: пришлось писать заявление в местком. Как видно, его и впрямь чрезвычайно ценили, потому что почти сразу выделили еще одну десятиметровую комнату. В прошлом это было примыкавшее к кухне помещение для прислуги с дощатым полом. Во всех других комнатах полы были паркетные.

Две недели спустя родилась я, и мама вернулась в Москву с двумя дочками. Из-за этой истории я всегда писала в анкетах, что родилась в Краснодаре, хотя по существу была такой же москвичкой, как моя сестра Аталия и родившийся семью годами позже брат Вениамин. Эта поездка была и причиной того, что мама в отсутствие отца дала мне имя Нина, популярное в то время. Отец же давал детям библейские имена.

Помню, как мы с папой ходили в роддом: отец был счастлив, он очень хотел иметь сына. Шел 1937 год, широко отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, и папа сказал со свойственной ему доброй иронией:

— Возможно, когда-нибудь напишут: «В год, когда исполнилось сто лет со дня смерти великого русского поэта, родился другой великий поэт!»

Мы росли в интеллигентной семье, без особых проблем и комплексов, которые нередко возникают в детстве. В нашей семье не было конфликтных ситуаций. Конечно, мы шалили, но все было в разумных пределах, как и полагается хорошо воспитанным детям. Ни отец, ни мама никогда ни о чем не сплетничали, ничего плохого не говорили о людях, никогда не жаловались на нехватку денег, хотя семья и была весьма ограничена в средствах.

Вечерами после ужина отец читал нам вслух. Помню рассказы Гоголя, где страшный «Вий» наводил на нас ужас, пугали жуткие мертвецы с длинными ногтями и волосами, продолжавшими расти даже после смерти.

Расскажу немного о соседях. В нашей квартире были две смежные комнаты. При распределении их получил профессор Милованов с семьей. С этими комнатами была затем связана непростая история. В середине 30-х арестовали одного из видных профессоров Горного института, который до ареста проживал в отдельном одноэтажном флигеле. Этот домик решили отдать нашему соседу Милованову, а на освободившуюся жилплощадь переселили Татьяну Семеновну, жену репрессированного профессора. Но мысль о том, что жена «врага народа» получит целых две комнаты, была, как видно, невыносима властям. Поэтому проход между этими двумя смежными помещениями закрыли, а Татьяне Семеновне оставили лишь первое, меньшее.

Таким образом, в квартире оставалась одна угловая комната,

не имевшая выхода в коридор. Войти в нее теперь можно было только через окно второго этажа. Жилищная комиссия долго искала выход из этого коммунального тупика и, за неимением другого варианта, решила отдать угловую комнату другому квартиросъемщику, пробив для этого в стене дополнительное дверное отверстие. По счастливому совпадению, этим «другим квартиросъемщиком» оказался не кто иной, как «перспективный сотрудник, доцент Горного института Григорий Израилевич Прейгерзон». Дверь из одной комнаты в другую была пробита, и у нас совершенно фантастическим для тех времен образом оказались целых три комнаты!

Я в это лето жила в Харькове у маминых родителей и, вернувшись в Москву, обнаружила, что наша маленькая квартира увеличилась на одну комнату. Как мне рассказала сестра, инициатором этого проекта была наша умная мама.

В начале войны Татьяна Семеновна, как и многие москвичи, уехала в эвакуацию. Когда она вернулась, ее комната была уже занята. Туда вселили супругов Каневских, Мирру Яковлевну и Дмитрия Борисовича, а Татьяне Семеновне, немолодой уже женщине, дали сырую комнату в полуподвале в Алсуфьевском переулке. Я хорошо помню, как она приходила к нам, жалуясь на свои недуги и ужасные условия жилья.

Другими соседями по коммуналке были Гусевы, судьба которых оказалась еще печальней. Глава семьи, Борис Николаевич, старый горняк еще с досоветских времен, несколько лет отработал на Шпицбергене. Его жена была интеллигентной женщиной, она выглядела совсем хрупкой по сравнению со своим грузным и высоким мужем. Ходил слушок, что она происходит из «бывших», из дворян. Эта женщина была постоянно озабочена тем, где бы найти денег, чтобы накормить мужа и детей. А их было трое: старшая дочь Светлана, средняя Алла (обе студентки) и сын Боря. Дети учились, жена не работала, заработка главы семьи едва хватало на пропитание

Во время войны Гусевы остались в Москве, при этом «доброжелатели» во дворе шептались, что их, якобы, не пугает приход немцев. Когда Горный институт эвакуировался, Борис Николаевич и вовсе остался без работы. Они питались картофельными очистками. Старшая дочь Светлана, высокая стройная блондинка, еще в начале войны вышла замуж за некоего Гузенко, шифровальщика по профессии. Вскоре их послали в Канаду на работу при советском посольстве. Вторая дочь Алла вышла замуж за молодого инженера и родила дочь.

Младшему сыну Боре в начале войны было шестнадцать лет. Его мобилизовали на военный завод, находившийся на другом

конце Москвы. Кажется, он работал там сторожем. Тогда были трудности с транспортом, и вечно голодный Боря шел на работу в самый лютый мороз пешком, в легкой обуви. А ведь известно, что именно в 41-м была самая холодная зима. Однажды Боря опоздал на работу, а может, просто не дошел. Вдобавок говорили, что в карманах у него нашли несколько краденых мерзлых картофелин. В тогдашние времена все это — и кража и опоздание — считалось тяжким преступлением.

Не знаю всех подробностей, но, когда мы вернулись в Москву из Караганды, Бори уже не было. Я с сожалением вспоминаю этого славного юношу, нашего старшего товарища по детским играм, который много читал и хорошо играл на пианино. На Гусевых было тяжело смотреть. Но оказалось, что их беды на этом не закончились.

Был канун первого мая 45-го года. Я стояла на подоконнике и мыла окно. У всех было приподнятое настроение: война кончается, вот-вот наступит праздник победы. Вдруг послышался продолжительный звонок, сопровождавшийся сильным и требовательным стуком в дверь. Я спрыгнула на пол и побежала открывать. В прихожую вошли два сотрудника МГБ (впоследствии — КГБ) и наш управдом. Сердце мое замерло. Кого?.. К кому?.. Мама быстро затолкала нас, детей, в комнату: «Не смейте выходить!» Несколько часов спустя незваные гости ушли, забрав с собой супругов Гусевых. А через некоторое время арестовали и Аллу.

Вскоре мы узнали причину их ареста: муж старшей дочери Светланы стал невозвращенцем, отказался вернуться в СССР. Это было достаточно шумное дело. Газеты писали, что Гузенко, мол, соблазнили деньгами и перспективой комфортабельной жизни. Есть упоминание об этом случае и в книге воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Помню, когда Алла ждала ребенка, она показывала нам, соседям, клубочки разноцветной мохеровой шерсти, которые Светлана прислала ей из Канады, — на выбор, чтобы Алла решила, какого цвета кофточку она хочет связать своему будущему младенцу. По тем временам это казалось настоящим чудом! Но вот как трагически все повернулось: родителей и Аллу сослали в Сибирь, а ее прыткий муж быстренько оформил развод и некоторое время спустя привел в квартиру новую малосимпатичную жену. Алле пришлось еще выдержать долгую судебную тяжбу за право оставить у себя дочку. Он доказывал в суде, что Алла — человек с несоветской идеологией и не имеет права воспитывать ребенка. К счастью, Алла была не арестована, а всего лишь сослана, и дочку оставили ей.

Через десять лет, в период «реабилитанса», Алла с мамой и дочерью еще попробовали вернуться в Москву. Но жить им в столице было негде, а в ссылке они как-никак успели обзавестись хозяйством. Немного помыкавшись, Гусевы уехали обратно, и больше я их не видела.

А вот семья Кащеевых. «Сам», Василий Дмитриевич, был горный инженер, а жена его ходила в «вечных студентках» мединститута, который она так и не окончила. Их дочь Инна была моей ровесницей, довоенной подружкой. Поначалу Кащеев производил самое хорошее впечатление, его никак нельзя было заподозрить в чем-то предосудительном.

Но была некая странность: достаточно было кому-либо прийти к нам в гости, как Кащеев тут же оказывался в коридоре, как будто любопытствовал: кто же это пришел к Прейгерзонам? Более того, когда к нам приходили друзья-знакомые, Кащеев через некоторое время уже топтался у порога нашей двери, стучался и даже протискивался в комнату под каким-нибудь пустячным предлогом. Это настораживало. Родители понимали, что все это неспроста: по-видимому, Кащееву поручили докладывать обо всех, кто приходил к отцу.

Впрочем, в те времена сотрудники МГБ очень многим предлагали давать информацию по интересующим их лицам. Моя мама тоже как-то получила такое предложение. Мгновенно найдясь, мама в ответ воскликнула: «Как я могу, я так плохо вижу и так плохо слышу!» От нее отстали.

Во время войны кащеевская дочка жила в деревне у родственников на оккупированной территории. После победы она вернулась в Москву, веселая, спокойная и раздобревшая. В ответ на наши расспросы она только отмахивалась: питалась, мол, одной картошкой. Тогда уже можно было сравнить ее судьбу с судьбой еврейской девочки Тамары, оставшейся на оккупированной территории, о которой речь пойдет позже.

Рассказ о нашей квартире был бы неполным без упоминания о нашей общей проходной комнате или, как ее называли жильцы, «коридоре», куда выходили двери всех жилых комнат. Это было просторное квадратное помещение без окон, площадью примерно 35–40 кв.м. Вместо обычного потолка там был стеклянный купол, и проникавшие сквозь него лучи создавали особое праздничное настроение. Для нас, детей, играть там было одно удовольствие. Возможно, при прежних хозяевах здесь была приемная или танцевальный зал. Увы, потом решили возвести надстройку и купол убрали. Двухэтажный дом превратился в трехэтажный, а светлая радостная комната — в унылую проходную, тускло освещенную маленькой электрической лампочкой.

Ну и, конечно, нельзя не рассказать о главном «соборном» помещении, где священнодействовали наши хозяйки, — об общей кухне. Это была комната примерно в двадцать квадратных метров, где вдоль стен стояли небольшие кухонные столики, принадлежавшие каждый одной семье. В середине комнаты еще с дореволюционных времен размещалась большая чугунная печь. В наше время она уже не топилась — на ней в боевом порядке выстроилась армия примусов и керосинок.

В тридцать шестом провели газ, и когда мы в тот год вернулись с дачи, этой чугунки уже и в помине не было: ее место заняли две аккуратные газовые плиты, каждая с четырьмя конфорками. В кухне стало намного просторней.

Именно здесь соседи чаще всего общались между собой. Ведь каждая хозяйка проводила на кухне по несколько часов в день — варила, жарила и пекла. До 50-х годов холодильников еще не было, и готовкой приходилось заниматься ежедневно. Мужчины здесь появлялись редко, но зато женщины общались довольно тесно — нельзя же часами стоять молча! В 30-е годы у плиты часто можно было услышать сравнения нынешнего быта с дореволюционным. К примеру — «а до революции не было очередей», или — «а до революции можно было купить то-то и то-то», и пр. и пр. Однако о главном, о том, что больше всего терзало людей, — об арестах соседей и знакомых, о страхе и ожидании беды, — об этом молчали глухо, никогда не упоминая даже единым словом.

Бывало, в квартире вспыхивали ссоры, в основном типично коммунальные: об оплате общественных услуг, света в местах общего пользования, газа, а позже и телефона. Кто-то хотел равномерного распределения расходов, другие требовали учитывать количество душ в семье. У каждой семьи имелись свое корыто и таз, и вся эта бытовая красота висела в ванной комнате на стенах. Стирали на кухне, белье выварили на плите в тазу или в чане. Помню времена, когда рано утром приходила молочница со свежим молоком в бидоне и разливала его ковшом. Потом молочницы исчезли, а молоко стали продавать в бутылках в магазине.

Хорошо помню атмосферу коммуналки, которая в полной мере ощущалась именно на кухне, в этом «квартирном клубе». До войны она была полна благожелательности: обменивались книгами, покупали друг другу билеты в театр, рассказывали о повседневных событиях. Ведь жены преподавателей, получивших здесь жилплощадь, происходили, как правило, из интеллигентных семей, и были воспитаны еще до революции. Иные из женщин не работали вообще, не сразу приспособившись к новому образу

жизни.

Был период, когда почти в каждой семье жила домработница, ведь девушек из деревни, где в то время царил голод, найти было нетрудно. Однажды поздним вечером, когда я была еще совсем маленькой, мама послала меня в кухню принести воды. Помню, как я удивилась: кухня была впритык уставлена раскладушками — на них спали домработницы… Но этот довоенный период длился недолго. А после войны ни о каких домработницах, да еще и без прописки в столице, не могло быть и речи. Конечно, кое-где они еще оставались, но только в особо привилегированных домах крупных начальников, известных актеров и т. д.

Вообще, после войны атмосфера в кухне резко изменилась: появились новые жильцы, неинтересные и недобрые люди. Вспоминаю такой случай. В 1944 году, когда мы уже вернулись из Караганды, мама лежала в больнице после серьезной операции. А в нашей коммуналке был такой порядок: в субботу каждая семья сдавала другой свое дежурство, которое включало наведение порядка в ванной, в кухне и мытье пола в коридоре. В отсутствие мамы мы с сестрой делали это попеременно.

В тот день была моя очередь, и я мыла пол в коридоре. Освещение было тусклое. Соседка, временно вселившаяся в комнату Татьяны Семеновны, шла мимо на кухню и ударилась ногой о ведро. В мгновение ока из интеллигентной женщины (писала диссертацию) она превратилась в злобную мегеру: «Если заболею туберкулезом, я тебя сотру в порошок!» В те годы нередки были случаи костного туберкулеза.

Мне было тогда тринадцать лет, и я очень сильно удивилась: в нашем доме так не разговаривали. Помню, что меня поразили не столько ее грубые слова, сколько сам факт ее внезапного преображения. Потом-то я поняла, что это было проявлением махрового антисемитизма, обычно скрываемого тонким слоем псевдокультуры.

А вот еще один инцидент из коммунальной серии. В конце войны у нас пропали продовольственные (или хлебные) карточки. Мама перерыла все три комнаты, но не нашла их. Кто помнит, тот знает, что означали для жизни семьи эти карточки! Мы были уверены, что не выносили их наружу: карточки всегда лежали у нас на буфете в столовой. Поэтому мы стали припоминать, кто из посторонних заходил к нам сегодня. Подозрение пало на ту самую соседку, которая ранее накинулась на меня из-за ведра.

И вот вечером, когда все соседки находились на кухне, там разыгралась поистине драматическая сцена. Мама патетически — а ей это хорошо удавалось — произнесла: «Я проклинаю того, кто взял наши карточки и оставил моих детей без хлеба! Бог его

накажет!» Стало тихо. Мама вышла из кухни, а вечером карточки нашлись под нашим кухонным столиком. Но проклятие уже было произнесено и, к нашему всеобщему сожалению, сбылось. Некоторое время спустя соседка шла через сквер, и на нее напали хулиганы. Вырвали из рук портфель с диссертацией, да еще и сильно ударили по голове.

Летние месяцы

В детстве, до войны, нас вывозили на дачу в Украину, где мы проводили летние месяцы. Наверно, в какой-то степени это была дань родительской ностальгии по их родным местам. На даче было много фруктов и овощей, дешевые продукты на базаре и вдоволь солнца, воздуха, купания в речке — словом, всего того, что нужно для детей. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы тогда действительно были счастливы.

Помню — я уже была взрослой — отец по какому-то поводу сказал мне, что в ТАНАХе написано, что если ребенка не воспитывать плеткой, из него не выйдет ничего путного. Я рассмеялась, но тут же вспомнила, как отец поступал в случае нашего неповиновения. Был такой момент: мне шесть лет, мама зовет обедать, а я заигралась и не спешу к столу. И вдруг папа говорит:

— Нина, если ты сейчас же не послушаешься, будешь наказана. Считаю до трех. Раз… два… три!

Я продолжала упрямиться. Тогда отец спокойно подошел ко мне, взял мою руку и неожиданно ударил по тыльной стороне ладони три раза двумя пальцами правой руки. Было очень обидно и больно, я заплакала и села за стол. Это был единственный раз. В дальнейшем на счет «два» мы с сестрой уже сломя голову мчались исполнять родительскую волю.

Потом это превратилось в некую игру с продолжением: в 1939 году, когда мы уже во второй раз приехали в Гадяч, городские мальчишки приветствовали нас криками: «Ася-Нина — раз, Ася-Нина — два!»

Они помнили, что происходило там прошлым летом. Все знали, что Ася и Нина — не слишком послушные дети. Обычно мы наотрез отказывались вылезать из воды и, сколько мама ни уговаривала, продолжали упрашивать:

— Ну еще, ну еще немножко!

Но когда на берегу появлялся папа и негромким голосом начинал отсчет:

— Ася-Нина, раз… Ася-Нина, два… — мы уже принимали стартовую позицию, стояли в стойке как перед забегом, а на счете «три!» стремглав выскакивали из воды. В противном случае нас, как мы считали, ждало неминуемое наказание, хотя на практике до этого никогда не доходило. Между прочим, тот же метод воспитания я пыталась применить и к своим собственным детям, но тщетно. Он работал только в той нашей семье, потому что был основан не на страхе наказания, а на глубоком уважении, которое

мы испытывали по отношению к отцу.

Дом, в котором мы жили летом, стоял в селе Вельбовка в сосновом лесу. Как сейчас помню высокие стройные сосны, землю, усыпанную хвойными иглами, множество шишек. А вот дерево с огромным дуплом — мама говорила, что в таком дупле скрывался известный главарь банды анархистов Нестор Махно.

В те времена было принято вывозить детей на дачу. Выбор городка Гадяч на Полтавщине был связан с тем, что там жили родители папиных друзей, брата и сестры Сивашинских, Израиля и Любы. С нами приезжали в Гадяч и Плоткины.

А какое это было счастливое время, когда отец приезжал к нам на дачу! Ему как институтскому преподавателю полагался двухмесячный отпуск. Один месяц он обычно использовал для поездки на воды в Ессентуки, так как страдал тяжелой язвой желудка. А свой второй отпускной месяц папа проводил с нами.

Мама активно занималась заготовками на зиму. Мы делали лапшу, покупали антоновские яблоки, заворачивая в газетную бумагу каждое яблоко по отдельности, и даже изготавливали домашнюю колбасу.

Летние месяцы тридцать восьмого и тридцать девятого годов навсегда запомнились мне как самое счастливое время моего детства. Ежедневные походы на реку Псел были для нас настоящим праздником. По дороге отец рассказывал много интересного, шутил, и мы наслаждались общением с ним. Ведь в Москве он всегда был занят. И хотя он постоянно был в курсе наших занятий, а вечерами читал нам вслух перед сном, но все же времени с ним нам недоставало.

Папа прекрасно плавал и запросто переплывал реку туда и обратно. Помню как-то, плескаясь в «лягушатнике» — отгороженном мелком участке реки, я вдруг почувствовала, что держусь на воде самостоятельно. И вот эпизод, запомнившийся мне на всю жизнь. Отец вдруг спросил:

— Хочешь, сплаваем вместе на тот берег?

Разумеется, я хотела. И вот мы плывем рядом. Он не поплыл как обычно, кролем, а спокойно, на боку, лицом ко мне. Мы вышли на противоположном берегу и немного побегали. Не знаю, что бы я подумала о той реке теперь, но тогда я была уверена, что Псел — очень широкая река.

Потом мы поплыли обратно. Думаю, что отец не был так уж спокоен, но волнение никак не отражалось на его лице. И вот мы уже на своем берегу. И вдруг… весь пляж встречает меня аплодисментами! Признаюсь, это было неожиданно и весьма приятно, тем более что нас, детей, не так уж часто и хвалили.

Помню, как мы с родителями ходили на кладбище, на могилу

известного цадика. Потом-то я узнала, что здесь был похоронен основатель ХАБАДа Шнеур Залман, Старый ребе из Ляд, как его называли. На его могиле стояло небольшое строение, внутри которого горела лампада. А рядом с могилой, в земле, было углубление, наполовину заполненное многочисленными записочками, похожими на те, которые засовывают в щели между камнями Стены Плача в Иерусалиме.

Мама тоже написала записку, сложила ее и положила в ту же нишу. Я спросила, что она там написала?

— Чтобы вам Бог послал хороших женихов!

Мне было тогда восемь лет, так что эти слова прозвучали для меня дико. Но как быстро бежит время, как неисповедимы пути Господни!

Вечерами у нас собирались друзья — Сивашинские, брат и сестра, чьи родители жили в Гадяче, и Плоткины, приехавшие в Гадяч в полном составе. Вся компания обсуждала еврейские проблемы. Интересно, что к папе нередко заходили и местные евреи, обсуждавшие с ним свои личные дела и проблемы еврейской общины Гадяча. Много говорили о политике, о фашизме, о Гитлере, о преследованиях евреев. Во всем этом чувствовалась тревога. Именно судьба евреев Гадяча во время немецкой оккупации стала главной темой папиного романа «Когда погаснет лампада» («Вечный огонь»), изданного в Израиле в 1966 году, и в Москве, в переводе на русский язык, в 2014-м.

Иногда устраивались вечеринки. Ведь вся эта московская компания состояла из молодых еще людей. На столе появлялась бутылка вина, закуска, Вадим Козин пел из граммофонной трубы свое знаменитое танго «Утомленное солнце». Слышалось много шуток, все смеялись и веселились от души.

В лунные вечера шли кататься на лодках, брали с собой детей. Хорошо было медленно плыть по заводям среди водорослей, где нет сильного течения, — там дети срывали белые и желтые кувшинки с длинными стеблями. Отец запевал, и все подхватывали мелодию еврейской песни. Папа вообще трепетно относился к еврейской музыке, дома он часто ставил эти пластинки. Я и теперь еще узнаю мелодии, услышанные от отца в детстве.

Почти каждый день в шесть часов вечера в нашем дворе собиралось много ребят — дети дачников-соседей и местных жителей. Мы все усаживались на траву, а папа сидел на скамейке и рассказывал нам сказку. Сказки были с продолжением, каждый день очередной его рассказ длился минут тридцать. Думаю, что когда отец прерывал свой рассказ, он еще не знал, о чем он расскажет завтра, и, по-видимому, сочинял на ходу.

О чем же он рассказывал? Это не были повести о красных девицах и богатырях, о добрых или злых волшебниках — словом, ничего похожего на сказки, которые нам обычно читали в детстве. Папа рассказывал захватывающие истории о наших сверстниках, которые отличались смелостью и отвагой, совершали благородные поступки. Это были рассказы о необыкновенных приключениях, путешествиях, опасностях, о дружбе обычных мальчиков и девочек, на месте которых мог бы оказаться каждый из нас. В этих сказках вроде и не было никакого волшебства, но в нашей обыденной жизни ничего подобного не случалось, и мы воспринимали все эти истории как нечто необыкновенное. И то, что их герои были обычными ребятами, делало папины рассказы еще интересней и загадочней.

Это начиналось каждый день в одно и то же время. Когда рассказ подходил к концу, но развязка еще не наступала, папа смотрел на часы и говорил: «Время вышло!» Как назло, это всегда происходило на самом интересном месте. Но никакие мольбы не помогали, рассказчик был непреклонен: «Продолжение услышите завтра!» Можете себе представить, как мы ждали продолжения рассказа на следующий день!

Но вот настает пора отъезда, уже рассказана последняя история. Если мне не изменяет память, это было трогательное повествование о том, как мальчик предотвратил ужасную аварию, успев в последнюю минуту предупредить водителя машины с детьми об обвале на дороге.

— За этот поступок, — заметил папа, — мальчик получил замечательный подарок.

— А что он получил? — послышалось с разных сторон

— Об этом вы услышите завтра, — последовал ответ. — А пока пусть каждый из вас подумает, что бы он сам хотел получить в награду.

Следующий, последний день нашего летнего отдыха мы все ожидали с особым нетерпением. Папа начал с того, что спросил у каждого, какой подарок хотелось бы тому получить. Ах, бедные на фантазию дети 30-х годов! Кукла с закрывающимися глазами, заводная машинка — вот, пожалуй, самые дорогие подарки, о которых могли тогда мечтать дети. Но папа сказал, что за столь смелый и мужественный поступок мальчику подарили железную дорогу с поездом и настоящий детский велосипед с надувными шинами! А также медаль и путевку в пионерский лагерь Артек. Это уже было сверх самых смелых наших ожиданий!

Как хорошо и интересно было нам с папой! Теперь я все пытаюсь припомнить, как мы проводили время в его отсутствие. Пытаюсь и не могу — хотя и без папы вокруг был тот же лес, и та

же река Псел.

Я уже упоминала о том, что наши счастливые воспоминания относятся к самым страшным годам сталинских репрессий. Но что знали мы, дети, об этой чудовищной стороне жизни? Как ни напрягаю память, ничего не могу вспомнить. Взрослые подолгу обсуждали разные темы, в особенности еврейскую проблему. Но я никогда не слышала их критических суждений в отношении советской власти. Скорее всего, в разговорах вообще не было принято касаться этой запретной, чересчур опасной темы, ведь тогда одно неосторожное слово могло привести к гибели. Поэтому можно сказать, что у нас было самое обычное счастливое детство — конечно, до тех пор, пока мы воочию не столкнулась с арестами, непосредственно в нашей московской квартире.

Следующее лето (1940 г.) наша семья провела не на Украине, а под Москвой, в поселке Истра, что недалеко от подмосковного Нового Иерусалима. Вода в здешней речке Истре была очень холодной, и мы уже не могли плавать в ней сколько угодно, как в реке Псел, — только окунались, и назад, на берег.

Мы продолжали ездить на отдых не одни, а в компании со знакомыми семьями. Так было и веселей, и интересней. Мама вообще умела организовать друзей — как своих, так и папиных. В Истре мы опять отдыхали с семьей Цви Плоткина — не в последнюю очередь, думаю, потому, что папе и Цви Яковлевичу хотелось общаться на иврите. Мы были очень дружны с женой Плоткина Любовью Соломоновной и его детьми — Ури, который был старше нас на несколько лет, и его сестрой Тамарой — младше меня на год. Мы замечательно проводили время, гуляли в лесу, собирали грибы, купались, устраивали интересные вечера и с наслаждением ели домашнее мороженое.

Помню, как мы поехали с отцом в Новый Иерусалим. Сохранилась фотография, где мы с Асей стоим возле храма в шапочках-«испанках» — тогда многие дети их носили как знак сочувствия к страдающим от фашизма испанским детям. Время было уже тревожное. В Истре мы узнали, что немцы вошли в Париж, и это стало частой темой бесед отца и Цви Плоткина. И хотя они обычно разговаривали между собой на иврите, мы чувствовали их тревогу за судьбу евреев Европы.

Плоткиным и нашим родителям не слишком понравился отдых в Подмосковье, и в следующем 1941 году они запланировали снова поехать в Украину, на сей раз в город Конотоп. Говорили, что там очень дешевый рынок и замечательная природа.

В 20-х числах июня обе семьи, Плоткины и наша, отправились в Конотоп. На сей раз мы были без папы — его

отпуск начинался позже. До Конотопа ехали на поезде, затем оттуда на машине в деревню. Зарядил дождь, дороги размыло. Когда уже прибыли на место, обнаружилось, что там нет леса, речка далеко, да и продукты не так уж и дешевы! Было решено уехать в другую деревню, но попробуй-ка теперь найди транспорт: водители ни за какие деньги не хотели везти нас по размокшим дорогам.

Наконец маме все же удалось найти открытый грузовик, водитель которого согласился рискнуть. И вот мы втаскиваем в кузов практически еще не распакованные вещи и мчимся под проливным дождем в направлении все того же Конотопа. Предполагалось, что оттуда мы сразу отправимся в другую деревню. Но в Конотопе водитель вдруг передумал ехать дальше и выгрузил нас возле местной гостиницы (тогда это называлось домом для приезжих). Делать было нечего: мы заночевали там. А на следующее утро в нашу комнату ворвался Ури с криком: «Война!»

Наши мудрые матери тотчас же кинулись на вокзал за билетами. Какое счастье, что мы оказались в тот момент в городе, а не застряли в деревне! Билеты в кассе еще продавались, и нам удалось в тот же день уехать в Москву. Уже на следующий день это было бы невозможно сделать, потому что железная дорога перешла на военное положение и билеты стали недоступны.

Когда мы вошли в квартиру, Кащеева искренне удивилась:

— Зачем же вы вернулись? Переждали бы войну в деревне, там ведь безопасней!

Ну да. Теперь уже можно себе представить, что нас ожидало бы под Конотопом! Хотя в самой Москве тоже могло быть небезопасно, и родители согласились на предложение нашей школы выехать в специально организованный для этого детский пионерлагерь.

Лагерь находился в городе Скопин Псковской области. Мы с сестрой прибыли туда в организованном порядке, вместе с другими школьниками, а мама добралась своим ходом и сняла неподалеку комнату, где и жила с нашим четырехлетним братом. Папе шел в ту пору сорок второй год, и он не подходил под призывной возраст. Тем не менее, ничего нам не сказав, он записался добровольцем в народное ополчение. В то время множество таких, как он, — не обученных, плохо снаряженных и часто просто безоружных, было брошено под гусеницы наступавших немецких танков. Как известно, большинство ополченцев погибали сразу, уцелели очень немногие.

Отца спасла тяжелая язва желудка, от которой он страдал долгие годы. В ополчении у него началась кровавая рвота, понос,

резкая слабость. Больного отправили в лазарет, и военврач тут же забраковал заведомо непригодного солдата. Папе выдали справку, освобождающую его от армии по состоянию здоровья, и отправили обратно в Москву.

— Ты счастливчик! — сказал ему врач на прощанье.

В июле отец забрал нас из Скопина.

Надо сказать, что папа имел нестандартную, привлекательную внешность без сильно выраженных семитских черт: серые глаза, русые волосы… Еврея в нем выдавало разве что интеллигентное лицо, нос с небольшой горбинкой и слегка сутулая спина. Это создало ему неожиданную проблему, когда с началом войны широко распространилась шпиономания и всякий человек нестандартной внешности стал вызывать подозрение — в особенности у патриотически настроенной молодежи. Они из кожи лезли вон, чтобы поймать и разоблачить шпиона.

Случалось, что и отца задерживали с приводом в милицию — для того лишь, чтобы, проверив документы, отпустить с извинениями. Такой случай произошел и в поезде по дороге в Москву: нам даже пришлось выйти из поезда и ждать, пока боевитые активисты не сводили папу в милицию для выяснения личности. Впрочем, надо признаться, что всеобщая шпиономания заразила и нас с сестрой.

В самом начале войны к нам домой вдруг заявился незнакомый человек в гимнастерке без знаков отличия. Родителей в тот момент не было дома, и незнакомец сказал, что он мамин родственник из Харькова. Мы впустили гостя в комнату, где он подошел к книжному шкафу и стал разглядывать книги.

А родители все не шли! Мы с Асей стали опасливо переглядываться, пока одна из нас, не помню, кто именно, незаметно выскочила на улицу, нашла милиционера и сообщила ему о крайне подозрительном визитере. Представитель власти тотчас же поспешил к нам, проверил у мужчины документы, откозырял и покинул квартиру. Вот же позорище — мне до сих пор стыдно вспоминать об этом случае. Вскоре пришла мама и, увидев гостя, шумно обрадовалась: это действительно был ее родственник, оказавшийся в Москве проездом.

Война

В июле начались бомбардировки столицы. Бомбили почти каждую ночь, и мы с одеялами под мышкой спешили на соседнюю улицу, где находилось бомбоубежище.

Отец в это время дежурил на крыше вместе с другими добровольцами. На Москву падали не только фугаски, но и зажигательные бомбы. Дежурные тут же должны были хватать эти «зажигалки» щипцами и гасить в ведре с водой, иначе мог вспыхнуть пожар. Это требовало сноровки, решительности и смелости, ведь даже передвижение по крыше было весьма опасным.

Немцы продолжали наступать, и оставаться в Москве стало небезопасно. Московский горный институт, как и большинство других научных учреждений, не функционировал. Папе надо было решать вопрос о работе и о нашей эвакуации. И он нашел самое верное решение: обратился в Министерство угольной промышленности и получил направление в Караганду на работу в качестве главного инженера крупной углеобогатительной фабрики. После захвата немцами Донбасса именно Карагандинский бассейн стал главным поставщиком угля для воюющей страны.

И вот куплены билеты, сложены вещи. Кстати о билетах и вещах: наш поезд оказался одним из последних составов, в которые еще можно было сесть как до войны, с плацкартными местами и багажом. Мы уехали в августе, а уже с сентября, когда началась массовая эвакуация, картина стала совершенно иной: вагоны набивались до отказа, и люди уезжали по принципу «лишь бы уехать», неведомо куда, не зная, где будут жить и работать!

Прощай, Москва!..

Лишь позднее я поняла, что отъезд отца в эвакуацию определялся не только чисто военной опасностью. Он еще до войны прекрасно знал о беспощадном отношении нацистов к евреям. Поэтому папин уход из Горного института и его намерение уехать на восток, в далекую Караганду, являлись хорошо продуманным поступком, следствием ясного понимания создавшегося положения. В самом начале войны наши родственники в Харькове, Киеве и других городах получили срочные письма от отца: «Немедленно уезжайте, немцы убивают евреев!» Большинство их последовали папиному совету, и именно это спасло эти семьи от уничтожения.

В конце августа мы прибыли в Караганду. Уже на следующий день начинались занятия в школе. Нашей семье выделили

двухкомнатную квартиру в относительно новом доме по улице Амангельды. И опять нам повезло оказаться в первой волне приезжих: позднее, когда в Караганду хлынул огромный поток беженцев, у эвакуированных возникли серьезные проблемы с жильем и работой.

Помню, в первый день приезда мама послала меня за хлебом. Хлебный ларек был довольно далеко от дома, и когда я пришла, он уже закрылся на перерыв. Было жарко, около ларька сидели на земле несколько мужиков. Как я поняла потом, это были ссыльные крестьяне. Они сказали, что ларек скоро откроется. Возвращаться не хотелось, и я осталась стоять перед компанией грубых и неопрятных мужчин.

— Откуда ты? — спросил один.

— Из Москвы.

— Ну, и кто ты?

— Москвичка.

— А по нации?

Мне тогда еще не исполнилось и одиннадцати лет, но я всей кожей ощутила, что они ждут ответа: «еврейка», и что в их представлении в этом есть что-то недоброе.

— Москвичка! — упрямо повторила я, сделав вид, что не поняла вопроса.

Этот случай был типичным уже в конце августа, а ведь тогда Караганду еще не заполонили эвакуированные! Но затем в эти края съехались тысячи людей, и чем больше их было, тем заметнее становились проявления антисемитизма, принимавшего все более резкие формы. Тут и там приходилось слышать печально известные байки о том, что, мол, «евреи отсиживаются в хлебных местах» и проч.

Эти злобные домыслы, а иногда даже искренняя убежденность людей в повсеместной клевете на евреев возникали на фоне того, что в военных сводках и сообщениях, когда речь шла о героизме советских людей, говорилось преимущественно о русских. Слово же «еврей» вообще не упоминалось. Никто, нигде и никогда не рассказывал о том героизме, который евреи, наряду с представителями других национальностей, проявляли на фронтах войны. Если кого-то из евреев и награждали — а таких, как выясняется, было немало, — то об этом либо не сообщалось вовсе, либо делалось в затушеванном, туманном виде. Типичные еврейские фамилии были словно запрещены к упоминанию, как будто их носители не воевали! А если и воевали, то «воевали за Ташкент»! Такая вот ходила по стране шутка, и народ охотно соглашался с ней.

Мы прожили в Караганде около двух лет, и все это время

мама, как и большинство других матерей, постоянно думала о том, где бы достать еду, как продать или обменять привезенные из дома вещи — словом, обычные приметы тех времен из жизни эвакуированных. Единственная привилегия, которую имел отец как главный инженер, состояла в том, что раз в году нам привозили подводу с капустой, которую мы квасили и хранили в бочках в погребе. А в остальном это была жизнь впроголодь, без сахара, мяса, масла. На чугунной плите мама пекла лепешки из муки и воды, иногда удавалось достать брусничного чая.

Были у меня и свои личные подростковые переживания. Ко мне начал приставать один хулиганствующий юнец, учившийся со мной в одном классе. Каждый день после школы он преследовал меня вместе со своими дружками. Главная беда состояла в том, что к нашему дому вела безлюдная дорога через овраг, который зимой засыпало снегом. Вот там-то они меня и поджидали. Поэтому мне приходилось постоянно изыскивать новые способы миновать это опасное место. Можно сказать, что я все время жила тогда в страхе.

В 42-м в Караганду переехал Московский горный институт, и отцу сразу предложили восстановиться на прежнем месте. В конце 43-го года он приступил к работе в институте в должности доцента. Интересно, что боли из-за язвы желудка у отца к тому времени прошли, хотя многочасовые смены на заводе и неподходящее питание должны были, вроде бы, привести к прямо противоположному результату. Но как только он вернулся на научно-преподавательскую работу, язва снова дала о себе знать. Потом об этом явлении писали в медицинской литературе: во время войны состояние многих хронических больных значительно улучшалось вследствие особенностей реакции нервной системы.

К концу 43-го в войне наступил перелом, и было принято решение о возвращении Горного института в Москву. Сотрудники института, в том числе и наша семья, погрузились в товарные вагоны. Поезд шел медленно, путь до Москвы длился почти месяц. Железная дорога пропускала в первую очередь составы, идущие на фронт, а наш поезд то и дело застревал на запасных путях в ожидании свободного перегона. Много лет спустя, уже в Израиле, я вспомнила эту поездку, когда читала рассказ отца «Беженцы», явно написанный под ее влиянием.

У нас была еще одна важная причина для скорейшего возвращения в столицу. Мама заболела, ей поставили диагноз: злокачественная анемия. В сентябре 1943 года наша семья вернулась в Москву, дождливую, хмурую, поразившую нас своим контрастом с солнечной Карагандой. На вокзале нас встречал заведующий кафедрой обогащения угля профессор Верховский.

Дворовый скверик, который некогда казался мне огромным, теперь выглядел маленьким и бесцветным. Кончилось наше детство, наши посиделки и игры в родном дворе. Мы с сестрой пошли в школу.

Маму положили в больницу, гемоглобин у нее упал до 6 gr/dl, в то время как нижней нормой считались 12 gr/dl. В больнице подтвердили диагноз злокачественной анемии. Но мама по собственной инициативе настояла на рентгене желудка. Сейчас это обычная процедура при малокровии, но тогда ее делали неохотно: анализ считался сложным и дорогим для того времени, и без существенных показаний его не проводили. Однако мама стояла на своем, и что вы думаете? — в результате рентген показал запущенную опухоль желудка.

Но при таком низком гемоглобине врачи отказывались ее оперировать, опасаясь летального исхода на операционном столе. Однако доктор Горелик, доцент хирургической клиники 2-го Московского мединститута, успешно сделал маме операцию резекции желудка. Гистологическое исследование подтвердило раковую природу опухоли. Кстати, еще долгие годы родители были в большой дружбе с доктором Горелик, безмерно его уважая.

Нам папа ничего не сказал, и я узнала об этом много позже. Но вот беда: после такой операции требуется специальная диета, соблюдать которую в те тяжелые времена было почти невозможно. И снова практический ум нашей мамы нашел решение: каждый день она должна есть манную кашу без масла и молока (которых все равно взять было негде), но обязательно горячую. И вот мы с Асей стали попеременно приносить ей в больницу кашу в стеклянной банке или в кастрюльке, завернутой в несколько слоев газетной бумаги и в лоскут старого ватного одеяла. Ездили после школы с пересадкой на двух трамваях и возвращались домой, когда на улице было совсем темно. Но на этой диете мама потихонечку стала приходить в себя.

Трудно себе представить, что чувствовал папа в это время. Лия Фейгина, близкий друг родителей, в то время еще жившая в Караганде, спустя много лет открыла мне, что в те дни получила от папы письмо, полное отчаяния в связи с возможной скорой маминой кончиной.

Первый год после возвращения мы жили в одной комнате — самой маленькой, которую можно было отапливать печкой-буржуйкой с трубой, выходившей в форточку. На этой же печке кипятили в чайнике воду, варили картошку. Напор газа на кухне был слаб, и картошка варилась очень долго. В задней большой комнате хранились дрова. Приходили папины студенты пилить и

рубить эти поленья. На дворе стояли такие холода, что стены комнаты покрывались слоем инея — это замерзало наше дыхание. Военные зимы и в первый год, и дальше, в 43-й и 44-й годы были очень морозными. Лишь на следующий год кое-как заработало центральное отопление и батареи слегка потеплели, но мы все равно ходили дома в ватниках, валенках и толстых платках.

Отец очень много работал; впрочем, он всегда много работал. Я не помню его иначе, чем за письменным столом. Помимо напряженной преподавательской и научно-исследовательской работы в институте он почти ежедневно посещал Ленинскую библиотеку, а вечерами писал очередную монографию. И даже ночью, когда все уже спали, он продолжал работать.

Еще в 1935 году папа получил должность доцента и степень кандидата технических наук honoris causa — без защиты диссертации, по совокупности многих научно-исследовательских работ и нескольких опубликованных книг и учебников. Папа никогда не стремился к защите и докторской. На вопрос — почему, он обычно отвечал, что предпочитает писать книги и получать за них гонорар. Этот заработок являлся ценным подспорьем для семьи. От военных времен остались немалые долги, и отец напряженно работал, чтобы быстрее вернуть их Но была и другая причина: любое повышение в статусе вело к необходимости вступать в КПСС, то есть к абсолютно неприемлемому для папы развитию событий.

Послевоенные годы

Еще до войны отец написал учебник для горных вузов. Рукопись прошла последнюю правку и в июне 1941 года была подписана в печать. Но с началом войны верстка была рассыпана. У нас дома остался лишь один экземпляр с последней авторской правкой. Сейчас он и другие книги отца по специальности хранятся вместе отцовскими книгами на иврите в литературном архиве Тель-Авивского университета.

После войны папа создал новый, расширенный учебник по специальности для преподавателей и учащихся вузов. Эта книга была издана в 1948 году. В этом же году объявили о денежной реформе. Речь шла о денежном обмене из расчета один к десяти, то есть за каждые десять рублей получали один рубль. Естественно, вся страна забурлила. Что лучше: держать деньги в сберкассе или перевести их в наличные?

Помню, мама стала поспешно закупать вещи: притащила железную кровать, какие-то тазы, еще что-то… Отец же думал, как сохранить гонорар за книгу. Ему показалось надежней не брать пока деньги у издательства, отложить на потом. Наивный расчет! Папе пришлось довольствоваться десятой частью гонорара. Не потеряли на реформе лишь те, кто держал деньги в сберкассе, да и то в небольшом количестве.

Постепенно мы возвращались к нормальной жизни. Из эвакуации вернулись старые друзья, земляки, приехали Плоткины, возобновились беседы отца на иврите. Теперь к ним присоединился Меир Баазов, в то время 30-ти — 35-летний красивый молодой человек, говоривший на прекрасном иврите. Иногда они встречались у нас, иногда у Плоткиных, но чаще прогуливались по находившемуся рядом с нашим домом Новодевичьему бульвару.

Мне тогда не было и четырнадцати лет. Я уже рассказывала о том, что именно в этот период в моей жизни появилась повесть Гроссмана. Именно в эти месяцы я почувствовала себя взрослой и поняла, что всю жизнь буду носить этот знак отличия — свое еврейство. И еще я поняла, что носить его надо с высоко поднятой головой. Ведь если мой замечательный, любимый отец стоит на защите этого высокого звания, если он ни под каким видом не приемлет антисемитизма, то это означает, что можно не стыдиться именовать себя еврейкой.

Обычно отец дома не заговаривал на эту тему, да и еврейские праздники у нас не отмечались. Правда, иногда на Хануку мама пекла блины, и приглашалась еврейская компания земляков. За

столом пели еврейские песни, запевалами были папа и Юда Фейгин. Однако мы с сестрой толком не знали, что это за праздник.

Когда в газетах печатали списки ученых, награжденных орденами и медалями, отец всегда читал это вслух, с удовлетворением отмечая еврейские фамилии. Его самого как крупного ученого неоднократно представляли к Сталинской премии за значительные изобретения, но ни разу не утвердили его кандидатуру. По-видимому, еврейская фамилия Прейгерзон звучала слишком уж вызывающе.

Случалось, премия доставалась папиным соавторам, а сам он, главный автор изобретения, исчезал из списка. Но я ни разу не слышала, чтобы отец выражал недовольство по этому поводу: антисемитская политика государства воспринималась им как факт нашей жизни. В то же время и в Горном институте, и в Министерстве угольной промышленности Прейгерзон пользовался большим уважением как крупный ученый, один из основателей отечественной науки по обогащению угля.

В 1946 году моя сестра Аталия (Ася) окончила школу с серебряной медалью. В то время медалистов принимали в вузы без экзаменов. Асе нравилась физика, и она хотела поступить на физфак Московского университета. Но родители категорически возражали против ее выбора, вплоть до того, что заперли ее в комнате, когда она собралась идти подавать в университет документы. Папа сказал:

— Если ты когда-либо окажешься в Израиле, то как врач всегда найдешь себе работу.

И это было сказано в 1946 году! Спустя тридцать лет, приехав в Израиль и сразу получив работу врача, моя сестра вспомнила о пророческих словах родителей. Так же и я, репатриировавшаяся через два года после нее, быстро нашла в Израиле место врача, которое соответствовало моему профессиональному опыту.

Между тем антисемитизм в послевоенном СССР понемногу набирал силу. В январе 1948 года был убит Михоэлс. И хотя власти представили его смерть как несчастный случай, многим евреям, в том числе и папе, стало ясно, что это начало уничтожения еврейской культуры. Прекрасно помню посещение Еврейского театра на Малой Бронной. Весной 1948 года отец предложил мне пойти с ним туда:

— Не исключено, что ты уже никогда не сможешь увидеть это.

После убийства Михоэлса ГОСЕТ доживал последние дни, было ясно, что его судьба решена. В тот вечер шли «Блуждающие звезды» Шолом-Алейхема. Не понимая ни слова на идише, я была

до слез потрясена этой пьесой, игрой великолепного Зускина и изумительной актрисы, красавицы Этели Ковенской.

Прекращали существование еврейские газеты, закрывались типографии, печатавшие издания на идише, а любое упоминание об иврите уже давно расценивалось как преступление. Начались аресты ведущих актеров еврейского театра, еврейских писателей, общественных деятелей. Папа и его друзья были чрезвычайно встревожены. Публика ГОСЕТа сильно поредела — люди боялись появляться в театре. Но отец, как и многие другие евреи, упрямо продолжал покупать абонементы Еврейского театра, чтобы хоть как-то поддержать его.

В 1948 году было провозглашено государство Израиль, и вначале это было одобрено Советским Союзом по политическим соображениям. В Москву прибыла Голда Меир — первый израильский посол, и это вызвало необыкновенное воодушевление среди еврейской молодежи, пережившей войну и потерявшей множество близких в лагерях смерти. Из рассказа «Иврит»:

> Тогда на Израиль напали соседние государства, и было неясно, что об этом думает наш могучий СССР. Хотя вроде бы Громыко уже произнес свою речь в ООН, где голосовал за Израиль, и наши страны успели обменяться посольствами. Однако мы, советские евреи, далеко зашли тогда в наших мечтаниях. Поэтому, да и не только поэтому, когда в июне сорок восьмого в большой московской синагоге состоялось собрание, сюда набежало столько народу, что яблоку негде было упасть, и большая толпа не попавших внутрь осталась стоять на улице. Синагога была украшена зелеными ветками, а вдоль ее фасада тянулся транспарант: «НАРОД ИЗРАИЛЯ ЖИВ!»
>
> А когда по субботам и праздникам в синагоге появлялась Голда Меир, то сейчас трудно даже представить себе, какое возбуждение царило среди евреев и как они толпами устремлялись туда. И тут пошли повальные аресты…

К этому периоду относится довольно смелый шаг моего отца, о котором я узнала относительно недавно. Во время израильской Войны за независимость евреи всего мира помогали денежными пожертвованиями молодому еврейскому государству. В Советском Союзе не было богачей, но все же находились евреи, которым хотелось оказать посильную помощь — разумеется, тайно, без упоминания адресата.

Мой отец инкогнито приносил эти пожертвования в синагогу. Но вот беда: в синагогальном журнале полагалось записывать имена жертвователей — говорили, что с целью благодарственной молитвы. Эти-то записи и попали в руки «органов». В итоге многие люди пострадали, в том числе и мой отец. Наибольшую активность в этой деятельности проявлял Цви Плоткин. Папин же сионизм выражался, в основном, в тайной ночной работе: он писал на иврите художественные произведения, отражавшие историю евреев России в этот тяжелейший для них период.

Осенью 1948 года я поступила во 2-й Московский медицинский институт и вскоре после начала учебы стала участницей сионистской деятельности. В начале сентября у нас в доме состоялась моя беседа с отцом и его ближайшим другом Цви Плоткиным. Они спросили, хочу ли я принять участие в делегации еврейской молодежи к Илье Эренбургу с целью просить его содействия в оказании посильной помощи молодому еврейскому государству. Я сразу согласилась.

При жизни Соломона Михоэлса с подобными просьбами обращались обычно к нему. Но после его гибели предполагалось, что эту функцию возьмет на себя Илья Эренбург — еврей и влиятельный советский писатель. Надежду на успех давало поначалу положительное отношение Советского Союза к созданию Израиля. Цви Яковлевич Плоткин рассказал, что делегации еврейской молодежи нередко посещают Эренбурга и что он может договориться о визите к нему и нашей делегации.

Отец и Цви Яковлевич предложили мне позвать еще кого-нибудь из моих знакомых. Я поговорила с близким другом нашей семьи, моим товарищем Толей Няньковским, и тот тоже согласился без малейшего колебания.

Врач Анатолий Няньковский с семьей репатриировался в Израиль в 1974 году. Сейчас он живет в Кирьят-Моцкине. А тогда никто из его родственников не знал о наших планах, все происходило в глубокой тайне. Только тетушке, которую Толя особенно любил и которой доверял, он сказал, что если однажды не вернется домой, то значит, его арестовали. Я меньше думала об опасности, напротив, мне даже импонировала возможность побывать дома у известного писателя. Однако, кроме отца, никто из нашей семьи не знал о моем участии в этом, действительно опасном мероприятии.

Толя родился в Западной Белоруссии. В начале войны, после вторжения немцев, все евреи его города были согнаны в гетто. Мать погибла в очередной «акции», а Толе с отцом удалось бежать в лес и примкнуть к партизанскому отряду. В то время ему было тринадцать лет. Больше двух лет провел он в партизанском

отряде, выполняя обязанности связного. К концу войны они приехали в Москву к родственникам. За три года Толя выучил русский язык и сдал экзамены на аттестат зрелости, а в 1948 году одновременно со мной поступил во 2-й Московский мединститут.

Нас, решивших пойти к Эренбургу, было трое. Третьим стал Леопольд Выдрин, студент Восточного отделения филологического факультета Московского университета. Он был на несколько лет старше нас, и его рекомендовал включить в нашу делегацию близкий друг отца и Плоткина Меир Баазов. История Леопольда Выдрина тоже была необычной: во время войны он был в армии, попал в окружение и оказался в лагере военнопленных. На его глазах расстреливали солдат-евреев, и только по воле случая он остался жив. Все трое, мы были воспитаны в еврейской среде и понимали важность существования Израиля как еврейского государства, где нет места для гонений и преследования евреев.

Операцией руководил Цви Яковлевич Плоткин, он же назначил нам время и место встречи. Я приехала на станцию метро «Охотный ряд», где он представил меня Выдрину и попросил нас идти вперед к выходу на улицу Горького. Сам Плоткин следовал за нами на некотором расстоянии. По улице Горького мы поднялись вверх, в сторону Центрального телеграфа. Там к нам присоединился Няньковский.

Эренбург жил в большом новом доме напротив Моссовета. Цви Яковлевич, шедший позади, указывал нам, куда надо идти. Мы вошли в один из подъездов и поднялись на несколько этажей. Лифтом не пользовались. Плоткин остался внизу. Мы позвонили в точно назначенное время, дверь открыл сам Илья Григорьевич Эренбург. Было понятно, что он нас ждал. Поздоровавшись, он быстро провел нас в большую комнату и предложил сесть на стоявшие у стены стулья.

Писатель был среднего роста, лет за пятьдесят, худощав, лицо знакомое по опубликованным в прессе портретам. На Эренбурге была бежевая стеганая домашняя куртка, отделанная коричневым шнуром, — такие я видела раньше только в кино. На стенах висели картины без рам. Эренбург сказал, что это работы его дочери, а потом указал на несколько картин Пикассо. На меня это не произвело большого впечатления, мои мысли были тогда далеки от живописи.

Зная, по-видимому, о цели нашего посещения, Эренбург сразу начал говорить, не задавая предварительных вопросов. Цви Яковлевич заранее договорился с нами, о чем желательно говорить каждому. Толе Няньковскому предстояло сказать о сборе денег и другой материальной помощи среди евреев Союза в

пользу Израиля. Мне как медику, будущему врачу, выпало просить разрешение на сбор медикаментов и перевязочного материала для воюющей еврейской страны.

Но ведущим в нашей тройке был Леопольд Выдрин, филолог, взрослый и зрелый человек. Он говорил с Эренбургом уверенно и убежденно. Напомнил о нарастающем после войны антисемитизме, о настроениях еврейской молодежи, о необходимости оказания помощи Израилю для сохранения его независимости и о том, что это поможет укрепить достоинство еврейского народа и стать защитой от его ненавистников.

Анатолий Няньковский заговорил о той огромной трагедии, которая произошла с евреями нашей страны во время Второй мировой войны, о трагедии, непосредственным свидетелем которой он был. Он тоже говорил об усиливающемся антисемитизме и выразил уверенность в том, что посильная помощь евреев нашей страны оказала бы существенную материальную и моральную поддержку находящемуся в опасности молодому еврейскому государству. Эренбург выслушал и ответил, что Толя еще очень молод и многое поймет лишь со временем.

Я сидела как на иголках. Полностью разделяя мнение товарищей, я все время ждала момента, когда мне удастся приступить к своей «медицинской» части общего задания. Улучив минутку, я вставила в беседу просьбу о разрешении на сбор медикаментов. Но мои слова повисли в воздухе, Эренбург не отреагировал никак.

Через полчаса (именно столько времени было нам отпущено) Эренбург встал, давая понять, что визит окончен. Он проводил нас к выходу, открыл дверь, и мы оказались на лестничной площадке. Вскоре к нам присоединился Цви Яковлевич Плоткин, который сказал, что не заметил за нами никакой слежки. Все это время он наблюдал за входом, поднимался по лестнице до самого верха и снова спускался вниз — никто в подъезд не входил.

На этом наша операция завершилась. Что же все-таки сказал нам Илья Эренбург? Прежде всего, он подверг сомнению наше право на сочувствие Израилю как еврейскому государству. Главное, как он сказал, заключается не в том, что Израиль — еврейское государство, а то, каким оно станет. Будет ли эта страна дружественной, социалистической, или, напротив, капиталистической, враждебной нашему советскому строю.

И поскольку теперь уже ясно, что развитие Израиля идет по буржуазному пути, то и у евреев Советского Союза не должно быть ничего общего с этой капиталистической страной.

Затем Эренбург говорил о природе антисемитизма. Он

считал, что до войны никакого антисемитизма в Советском Союзе не было, что это явление пришло к нам вместе с идеями нацизма во время войны. Следовательно, нынешний послевоенный антисемитизм — сугубо временное явление, которое не содержит национальной ненависти, не поддерживается политикой правительства и вскоре заглохнет само по себе. Лозунг «Бей жидов!», сказал он, немногим отличается от какого-нибудь «Бей рыжих!».

Вскоре после нашей встречи в центральных газетах появились публикации Эренбурга, где выражались те же взгляды. Помню, одна статья, которую папа зачитал нам вслух, так и называлась: «Бей рыжих!». Стало окончательно ясно, что в беседе с нами Эренбург повторил общепринятые правительственные установки, выразил официальную позицию властей.

После этого визита мы пребывали в подавленном настроении. Эренбург не только не ответил на наши вопросы, но и не предоставил нам возможности хорошенько обосновать свое мнение. Более того, он даже не позволил нам представиться, назвать наши имена. Возможно, этим он пытался оградить нас от преследований, так как знал или предполагал, что квартира прослушивается органами МГБ. Об этом же свидетельствовала и высказанная им сугубо официальная точка зрения по еврейскому вопросу. Печально было сознавать, что замечательный писатель, известный во всем мире борец за мир и демократию, в своей стране вел себя как узник советской власти.

Вскоре нам стало известно, что в парткоме мединститута знают о нашем походе к Эренбургу, несмотря на то, что все участники этого визита хранили о нем полное молчание. Близкий друг Толи Няньковского, секретарь комсомольской организации курса Саша Буркат тайно поведал ему, что в парткоме у него спросили, какие у его друга отношения с Ниной Прейгерзон и по какому поводу мы навещали Эренбурга. В те времена «органы» везде и всюду искали «вражеские группировки».

А вскоре в печати развернулась кампания против космополитизма, всей сутью своей направленная против евреев. Она стала продолжением сталинской политики решения еврейского вопроса, общей кампании, начатой убийством Соломона Михоэлса.

Арест. Караганда

Ц. Прейгерзон с семьей за месяц до ареста. Слева направо: Биньямин, Нина, Лея, Аталия (Ася), Цви. 6 февраля 1949 г.

В сентябре 1948 года арестовали Цви Плоткина, вскоре после него — Меира Баазова, а в марте 1949-го пришла очередь моего отца. Все трое были бесконечно преданы запрещенному ивриту. Это и послужило основной причиной их обвинения в «буржуазном национализме» и последующего заключения в лагеря ГУЛАГа.

Передо мной лежит Дело № 2239 Прейгерзона Герша Израилевича (март — ноябрь 1949 года), извлеченное из архивов КГБ моим братом Вениамином в 1990 году. Страшно читать о ходе следствия и вынесении приговора. А вот и рекомендация следователя, подполковника Лебедева, который вел дело отца: «… обратить внимание соответствующих органов МГБ на тех еврейских националистов, с которыми Прейгерзон поддерживал близкие связи». В этом списке имена всех трех участников нашей делегации к Илье Эренбургу. Но, как видно, слишком много дел было в то время у МГБ, и до нас очередь так и не дошла.

Отца осудили на десять лет лагерей. После смерти Сталина в 1953 году постепенно стали пересматривать дела осужденных. В конце 1955 года папу реабилитировали. Он был восстановлен на прежнем месте работы в должности доцента Московского горного института. Но кто вернет ему семь лет, изъятых из творчества, из свободной жизни? Кто вернет эти годы нам, лишенным его общества на все это бесконечно долгое время?

Аресту отца предшествовало знакомство и дружеские отношения с неким Сашей Гордоном. В течение ряда лет он не

раз бывал в нашем доме. Кажется, познакомил его с отцом Цви Плоткин. Родители приглашали его в компанию земляков, где велись еврейские разговоры, слышались еврейские песни. В этой компании звучали довольно опасные фразы, понятные, впрочем, далеко не всем. Так, при встрече спрашивали: «Ну, как дела, чемоданы уже собраны?», а при прощании бросали: «В будущем году в…»

Гордон представился как человек, который всем сердцем любит иврит и очень хотел бы изучать этот язык. Папа даже согласился дать ему несколько уроков. В конце концов Саше стало известно, что отец, Плоткин и их товарищ Ицхак Каганов занимаются литературным творчеством на иврите.

Со временем Гордон вошел к ним в такое доверие, что убедил их в своей возможности пересылать рассказы и повести в Эрец-Исраэль, через тех, кто возвращался после войны из Советского Союза в Польшу. В 1946 году передал ему несколько своих текстов и мой папа. Содержание этих рассказов было посвящено жизни еврейских местечек и, как и все отцовское творчество, далеко от политики.

В начале 1948 года Саша убедил всех трех писателей переслать свои произведения в Болгарию через некоего военного врача, который якобы согласился передать рукописи отъезжающим в Эрец-Исраэль. Плоткин отправился на встречу с этим врачом, проверил его документы, визу на отъезд и составил о нем положительное мнение.

Впоследствии это оказалось провокацией: после ареста отец увидел эти рукописи на столе у следователя. Один из папиных рассказов даже удостоился чекистского перевода на русский язык. А иногда следователь язвительно называл отца «брат Мошка», используя имя одного из персонажей отцовских историй.

На Прейгерзона, как и на всех его друзей, в МГБ завели пухлое «дело», где были подшиты регулярные доносы Гордона. Было много и других провокаций, устроенных этим ничтожным человеком: составление петиции о создании при МГУ кафедры по изучению иврита (это стало одним из пунктов обвинения папиного друга Меира Баазова), посылка анонимных писем руководителям Советского Союза с призывами помочь Израилю и многое другое.

После того, как взяли Плоткина, отец понял, что и его арест неизбежен. Ночных гостей родители ждали со дня на день. Мы, дети, были уже достаточно взрослыми и воспринимали аресты жильцов нашего дома как неизбежную черту того времени. Но мы и думать не могли, что та же участь постигнет лучшего и честнейшего человека, нашего отца!

Они пришли ночью первого марта 1949 года. Мы с сестрой стояли ошеломленные и потерянные, со слезами на глазах. Наш младший брат не проснулся. Мама быстро собрала папины вещи, завернула их в одеяло. Отец поцеловал нас, маму и спящего сына. Прощай, папочка, прощай!

После того, как отца увели, обыск длился еще долго, до самого утра — просматривали каждую бумажку. Увидев рассыпанные на полу папины фотографии, я захотела подобрать хотя бы одну, на память, ибо готова была к самому худшему. Я решила незаметно и как бы нечаянно наступить ногой на фотокарточку и поднять ее, когда оперативник отвернется. Но раздался грозный окрик. Они переворошили все три комнаты, но не нашли ни одного клочка бумаги с еврейскими буквами.

В Деле № 2239 есть протоколы допросов, из которых видно, как следователь раз за разом спрашивал у отца, где находятся рукописи его произведений на иврите. Отец отвечал, что уничтожил их. Однако архив сохранился — весь, до единой странички. И основная заслуга в этом принадлежит нашей маме — Лие Борисовне Прейгерзон.

В то страшное время, до отцовского ареста, мама ежедневно выходила из дома с черным чемоданом, в котором находились рукописи. Она настойчиво искала место, где можно было бы их пристроить, ведь хранить эти бумаги дома не представлялось возможным. Обнаружение рукописей властями было чревато самыми тяжелыми последствиями для отца, не говоря уже об уничтожении архива, что было бы для него хуже смерти. Но все попытки мамы оказывались тщетными, и она раз за разом возвращалась с чемоданом домой.

Все знали: в случае ареста Гриши (Цви), под подозрение попадут все близкие ему люди. Так приучила думать советская действительность, люди боялись. Один из близких друзей сказал, что готов взять чемодан, но предупредил, что если отца арестуют, он в тот же день уничтожит все бумаги.

Некоторое время рукопись незаконченного романа «Когда погаснет лампада», завернутая в старые газеты, хранилась в сарае у приятельницы родителей — Любови Григорьевны Сивашинской. В какой-то момент один из очень хороших знакомых, живший в Малаховке, согласился взять чемодан на хранение. Мы вздохнули с облегчением, однако через несколько дней он передумал: позвонил и сказал только одно слово: «Заберите!»

И все же мама нашла убежище — вечная за это благодарность Доре Ароновне Гольд, хозяйке дачи в Кратово, где мы отдыхали летом в 1947 и 1948 годах. В один из дней поздней осени 1948-го они с мамой отправились в Кратово с чемоданом. Было ветрено,

холодно; две женщины шли по размытой дождем дороге, месили ботинками осеннюю грязь.

Все делалось в абсолютной тайне — даже муж Доры Ароновны ни о чем не подозревал. Знали о происходящем лишь трое — папа, мама и эта замечательная женщина. Мама завернула рукописи в клеенку, обсыпала их крысиным ядом. Чемодан был спрятан на чердаке летнего домика и засыпан сухими стружками. Там архив отца пролежал до возвращения его из Воркуты в 1957 году. Тот, кто не жил в то время в Советском Союзе, не может даже представить, насколько опасными были мамины действия. Ее поведение было поистине героическим.

Сразу по возвращении из лагеря отец написал книгу «Дневник воспоминаний (1949 — 1955)», где он воссоздал ужасающую картину следствия, допросов, невероятных обвинений, избиений, надругательств над самыми святыми чувствами человека. Битьем, карцером, обманом, лишением сна его заставляли подписывать протоколы допросов с надуманными обвинениями. Папа отказывался. Девять месяцев длилось это истязание. И тогда следователь достал из рукава своего последнего туза:

> — Подписывайте, подписывайте, — сказал следователь, — а не то мы арестуем вашу дочь!
>
> Моя дочь вместе с двумя приятелями Леонардом Выдриным и Толей Няньковским была у писателя Ильи Эренбурга. Услышав эту угрозу палача-следователя, я подписал.

(«Дневник воспоминаний»)

В декабре 1949 года ОСО вынесло отцу обвинительный приговор: десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях за «участие в антисоветской националистической группировке и распространение нелегальных рукописей».

Из обвинительного заключения:

> «Прейгерзон в своих литературных произведениях… протаскивал сионистские идеи об объединении евреев и создании еврейского сионистского государства в Палестине. Свои рукописи националистических произведений Прейгерзон распространял среди еврейского окружения, а также нелегально переправлял их для издания за границу».

Отец отбывал наказание сначала в лагерях Караганды

(больше года), затем в Инте и Абези, и, наконец (самое длительное), в Воркуте. В «Дневнике…» он очень немногословно пишет о самом себе, главное внимание уделяя тем людям, с которыми встречался во время следствия и пребывания в лагерях. Как-то само собой получалось, что он сразу располагал к себе собеседника и вызывал его доверие. В лагере он выслушивал сотни людей, их жалобы, истории ареста, истории жизни.

У отца была необыкновенная память, и по возвращении он решил записать свои воспоминания о лагере в форме дневника, естественно, на иврите.

> Пройдут годы, кто-нибудь из моих потомков прочтет эту тетрадь и найдет в ней кое-что поучительное, а может быть, и по-человечески трогательное и захватывающее.

Свои воспоминания отец начинает с описания лагерного режима, распорядка лагерной жизни, запретов, обязанностей, условий питания, состояния санитарно-лечебной работы, осуществляемой, в основном, врачами-заключенными. По приезде в Караганду осужденных разместили в бараках, напоминавших землянки. Нары располагались вдоль стен сплошными рядами в два яруса. В бараке каждый старался найти приятных соседей по нарам, друзей для душевной беседы. Там были люди всех возрастов и разных национальностей.

Из записей отца:

> Длинная зимняя ночь, воздух тяжелый и удушливый, лежишь с закрытыми глазами в тяжелой дреме. Наступает утро. Но маленькие оконца в полуземлянке еще не пропускают утренний свет, покрытые снаружи снегом. Наконец-то открывают дверь барака. Я одеваюсь. Моя одежда: ватные брюки и бушлат — мятый и латанный, шапка-ушанка, изношенные валенки. Одетый, я выхожу из барака на утреннюю прогулку и утреннюю молитву. Ночью выпал снег. Мне предстоит проложить, протоптать новую дорожку. Мерцает тусклый свет, дует легкий ветерок, хватает за нос и за уши. Я шагаю туда и обратно, иду быстро против ветра и медленно — в обратном направлении. Лицо начинает замерзать, я тру щеки и нос.
>
> Что было моей утренней молитвой? Я пел еврейские песни. Пел их на иврите или напевал мотивы без слов. Все годы в лагере я собирал и запоминал песни на иврите. Многие я знал еще с детства, но здесь я не

пропускал ничего. Большое количество новых песен я узнал от Иехезкеля Пуляревича, Шмуэля Галкина, Моше Вайсмана, Мордехая Грубияна и особенно от Лени Кантаржи — моего молодого друга, которого я очень любил. Отдельные песни я выучил у Мустафы Адали (мелодии) и Льва Стронгина. Немало я сочинил и сам. В Караганде у меня был небольшой запас песен, каждое утро я напевал их, повторял. За несколько лет я услышал и запомнил еще более ста песен и каждодневно пел их для себя… Молитвы и прогулки очищали и освежали душу, а также придавали силы, чтобы не опуститься и сохранить себя.

(«Дневник воспоминаний»)

Заключенные любили отца за внимание, оптимизм, посильную помощь, интересные беседы. Первый лагерь, куда он прибыл после тяжелейшего этапа, находился, как уже говорилось, вблизи Караганды. Туда же отправили и его друга Меира Баазова. Его солагерник по Караганде Александр Ходорковский, в то время 20-летний юноша, пишет в своих воспоминаниях:

Александр Ходорковский

С Гершем Израилевичем Прейгерзоном я встретился в юности. Уже не годы, а десятилетия отделяют меня от того времени. За прошедшие десятилетия много забыто, исчезли из памяти события, которые до боли волновали меня, не могу уже вспомнить имена и фамилии некоторых товарищей, но есть люди, которые вошли в мою память ярким светом — они не могут быть забыты, так как оставили неизгладимый след в моей жизни. К таким людям относится Герш Израилевич Прейгерзон. Познакомился я с ним на «прогулочной дорожке» 7-го лагпункта Песчлага г. Караганды. Это был первый лагерь

в моей долгой тюремной жизни. Работал я тогда на строительстве Рудоремонтного завода на бетономешалке. Работали вдвоем, за день уставали очень, потому что все делали вручную. Но каждый вечер после ужина, в свободный час до отбоя, я спешил на «прогулочную дорожку». Ее называли Бродвеем, Арбатом, Крещатиком — в зависимости от того, где люди жили до ареста. Гуляли национальными группами: бандеровцы с бандеровцами, прибалты, полицаи и старосты, и евреи с евреями, которые в то время занимали довольно почетное место (в процентном отношении) по количеству заключенных.

В один из вечеров прибыли этапом из Москвы несколько человек. Среди них был и Герш Израилевич. Он сразу же обратил на себя внимание. Среднего роста, сутулый, с грустными глазами. Он был немногословен. В основном он слушал, о чем говорят другие. Вот слушать он умел — его глаза загорались любопытством, когда он слушал чью-либо житейскую историю. Он не только слушал, он расспрашивал, уточнял, с интересом изучал собеседника. Я тогда не знал, что он писатель, и все эти истории могут стать сюжетом его рассказов, повестей.

Удивительно, несмотря на разницу в возрасте, мы с ним сразу же подружились. Я сейчас понимаю, что я ему напомнил его детей, а мне было радостно и приятно чувствовать внимание и заботу. Его, конечно, заинтересовала наша молодежная группа «Эйникайт». Он просил меня рассказать подробно, как возникла группа, почему мы агитировали и призывали еврейскую молодежь к объединению, как родилось у нас решение создания еврейского государства. Интересовался, как проходило следствие. Совершенно ясно, что мне тогда очень нужен был такой старший друг, который умел внимательно слушать, советовать и поддерживать. Герш Израилевич уверял, что впереди у меня интересная жизнь, что лагерь — школа жизни, которая учит жить, преодолевать трудности.

…Когда мы бывали одни, Герш Израилевич рассказывал об истории еврейского народа, о своих впечатлениях от Израиля, где он был до Первой Мировой войны, о своей прошлой жизни, о детях. И как бы я ни уставал, я спешил к нему на встречу. Эти беседы были отдушиной в той тяжелой жизни, они помогали верить в будущее.

…Первое время мы жили в землянках, которые остались от лагеря военнопленных японцев. В землянке размещалось до ста человек. Через месяц построили бараки на 100–150 человек. Конечно, мы воспользовались возможностью разместиться вместе. Герш Израилевич и Меир Баазов устроились на нарах внизу, а я и мой брат, Илья Мишпотман, наверху. Теперь Герш Израилевич каждое утро провожал меня «на развод», а вечером встречал меня новостями и интересными беседами.

Герш Израилевич был заботлив не только ко мне. В нашем бараке жил Матвей Грубиян — еврейский поэт. Участник войны, был ранен — хромал. Он не был приспособлен к жизни вообще, а тем более к жизни в лагере. Его необходимо было спасать, он не выдерживал «общие работы». Герш Израилевич обратился к Леону Михайловичу Леменеву, врачу-заключенному, с просьбой где-нибудь пристроить Матвея. Леменев не мог отказать Прейгерзону, и вскоре Матвей стал «лепилой» (фельдшером) на объекте выгрузки леса из железнодорожных вагонов. Грубияна зачислили в бригаду Ермакова — бывшего брянского полицая. Ермаков не упускал случая поиздеваться над ним. Герш Израилевич решил побеседовать с Ермаковым. Не знаю, о чем они говорили, но Матвея тот оставил в покое. Мне Герш Израилевич сказал, что предупредил Ермакова: он будет иметь дело с еврейской молодежью, которой в лагере было довольно много. (Ермаков через год за свои лагерные подлости был убит литовцами.)

Незаметно Герш Израилевич занял среди заключенных место «ребе». К нему приходили со своими проблемами и вопросами не только евреи, но и люди других национальностей. Понятно, что в лагере при большом скоплении людей часто возникали конфликты, которые не всегда заканчивались мирно. Герш Израилевич очень внимательно выслушивал обе стороны, и ему нередко удавалось завершить споры миром.

Он нужен был многим — наш ребе. Больше года мы были вместе. Я очень благодарен судьбе, что встретился и дружил с таким светлым человеком. Герш Израилевич ушел этапом на Воркуту. Там он встретился с другими членами нашей группы — Меиром Гельфандом, Володей Керчманом.

В Караганде отец был особенно привязан к Меиру Баазову, прекрасно знавшему иврит.

Меир Баазов перед арестом

Он родился в 1913 году в Грузии, в Они. Его отец, Давид Баазов, был раввином и известным в Грузии общественным деятелем. Его брат, Герцль, был грузинско-еврейским писателем, чьи книги были переведены на русский язык и печатались у нас. В 1938 году он был арестован (обвинен в сионизме) и погиб. В начале 40-х годов его отец был арестован и осужден на пять лет. Он вернулся в Тбилиси и спустя год умер. Другой его брат, Хаим, тоже был арестован по сионистским мотивам.

С Меиром Баазовым мы говорили только на иврите. В лагере мы с ним жили «коммуной», одним хозяйством — общие посылки и т. д. Мы много рассказывали друг другу. Никто в бараке нас не понимал. Я очень любил Меира. К сожалению, ему не дали инвалидности, и он был вынужден работать на общих работах.

(«Дневник воспоминаний»)

По состоянию здоровья и возрасту отца в Караганде не посылали на общие работы. Лагерное начальство, по-видимому, знало, что Прейгерзон был крупным специалистом по обогащению угля — ведь по его учебникам учились все обогатители-угольщики страны. Ему в лагере даже создали примитивные условия для работы по специальности. Стараясь помочь Меиру Баазову, который с большим трудом переносил работу на строительстве, отец раз за разом убеждал лагерное начальство, что ему для работы нужен расчетчик-математик.

Меира освобождали от работы на пару недель, но потом снова возвращали на общие работы.

Во время пребывания в лагерях отец занимался изобретательством по своей специальности — склонность к этому сопровождала всю его сознательную жизнь. Папа сделал целый ряд изобретений в области усовершенствования методов обогащения угля. Так, в Караганде он разрабатывал конструкцию угольного комбайна, для чего привлек к работе инженера-механика Усова. В дальнейшем, уже в Воркуте, он разработал оригинальный метод применения рентгеновского аппарата для обогащения угля, и этот метод впоследствии был внедрен в производство. Еще будучи заключенным, отец за оба эти изобретения получил авторские свидетельства, что было необыкновенным событием в лагерной жизни.

В Карагандинском лагере Прейгерзон встретил сионистов из областей, «освобожденных» Советским Союзом в 1939 — 1940 годах: Западной Украины, Прибалтики, Бессарабии. Больше всего выделялись бейтаровцы.

> «Бейтар» — организация молодых сионистов, главой и вождем которой был Зеев Жаботинский, умерший в 1940 году в Нью-Йорке. Он был весьма одаренным человеком и борцом по натуре. Прекрасный оратор, писатель и переводчик, поэт, человек большой силы воли. Жаботинской был главой правого крыла в сионистском движении. Находились такие, которые называли его главой еврейских фашистов. Он был очень деятельный, обладал большими способностями в военном деле. Бейтаровцы восхищались им. Я познакомился с бейтаровцами только в лагере, до ареста я ничего не слышал об их организации.
>
> …В начале января 1950 года мы с Баазовым в бараке беседовали на иврите. Подходит к нам парень, спрашивает: «Вы говорите на иврите?» — и начинает говорить с нами на том же языке.
>
> Это был Иехезкель Моисеевич Пуляревич. Мы обрадовались этому человеку из-за его хорошего иврита, но когда узнали его ближе, еще больше полюбили его за прекрасные душевные качества. Пуляревич был одним из руководителей бейтаровцев в Каунасе.
>
> С приходом советской власти в сороковом году его арестовали и дали 10 лет. Его жена с маленьким сыном были сосланы в Сибирь. По окончании срока он был также сослан в Сибирь на лесоразработки. Но

объединиться с женой ему не разрешили.

…Много прекрасных часов провел я с Пуляревичем. Я был инвалидом, не работал, но весь день ожидал окончания рабочего дня Пуляревича. Вот мы гуляем по узким дорожкам среди бараков лагеря, говорим на иврите. Иехезкель рассказывает о жизни бейтаровцев в Каунасе, о целях и задачах организации, о буднях и праздниках, о песнях и своих устремлениях.

Власти Литвы не препятствовали сионистскому движению, все организации существовали официально, устраивались демонстрации, проводились собрания. Были еврейские гимназии в Каунасе, Шяуляе и других городах. В своем клубе бейтаровцы организовывали концерты, которые передавались по радио, там по вечерам собиралась молодежь, проводились собрания, встречи, пели песни, изучали иврит — каждый бейтаровец был обязан знать иврит.

…Последний день его в лагере мы провели вместе. Красивы осенние дни в Караганде. Солнце золотит своими лучами степь, чистые облака плывут в небе. Он рассказывает мне о жизни в Каунасе после того, как Литву захватил Советский Союз. Девушки и парни разъехались, некоторых арестовали, другие начали новую жизнь.

(«Дневник воспоминаний»)

И. Пуляревич в Израиле

Дружба отца с Пуляревичем продолжалась до конца жизни. Иехезкель с семьей одним из первых «лагерников» репатриировался в Израиль. Отец переписывался с ним, разумеется на иврите, после освобождения. В Израиле Пуляревич

вел активную работу среди репатриантов из Советского Союза, помогая «узникам Сиона» — людям, брошенным в советские тюрьмы за сионизм.

Когда я приехала с семьей в Израиль, Иехезкель и его жена были уже немолоды. Помню, я пригласила их на ужин. Иехезкель много рассказывал о папе, говорил о нем как о необыкновенном человеке. В своей книге он подробно написал о встречах с отцом в лагере.

Семью Пуляревича постигло большое несчастье. Их сын Шаби (начальные буквы имени Шломо бен Иосефа — парня-бейтаровца, повешенного англичанами в Палестине), врач, был членом экипажа израильской подводной лодки «Дакар», затонувшей в Средиземном море в 1968 году. Прошло более сорока лет, прежде чем ее обнаружили на дне моря. Это было уже через много лет после смерти родителей. На горе Герцля, рядом с «Яд ва-Шем» установлен монумент — модель башни этой подлодки, на которой написаны имена членов погибшей команды.

Познакомился отец и с членами группы «Эйникайт» («Единение»), которая уже упоминалась здесь. Она была создана в городе Жмеринка после войны. Город был оккупирован румынами, которые не убивали евреев сразу, но сгоняли их в гетто, где морили голодом, унижениями, побоями, наказаниями и непосильным трудом.

«Эйникайт» состояла из десяти парней и одной девушки Во время войны часть ребят вынесли трехлетние тяготы гетто, попав туда в подростковом возрасте. Другие вернулись в Жмеринку из эвакуации. Конечно, они знали об уничтожении евреев немцами во время войны, понимали, что ассимиляция не является выходом — Гитлер уничтожал даже полукровок. Те, кто были в эвакуации, столкнулись там с разнузданной антисемитской травлей. Ответом на все это было вспыхнувшее национальное чувство и осознание того, что только в Эрец-Исраэль у евреев есть шанс получить такое же право на жизнь, каким обладают все прочие народы.

В деятельности группы не было ничего антисоветского. В основном они писали листовки о том, что евреи должны ехать в Израиль, что это единственный путь для решения еврейского вопроса. Эти листовки распространялись в синагогах Жмеринки, Киева, Винницы. В их группу, разумеется, внедрили стукача, и ГБ хорошо была осведомлена обо всем происходящем.

После окончания школы ребята поступили в университеты в Киеве, Львове, Ленинграде, и к 1947 году группа прекратила свою сионистскую деятельность. Но в 1948 году, когда начались преследования сионистов, их всех арестовали. Наиболее активный из них, Миша Спивак, был осужден на 25 лет лагерей,

остальные — на десять.

В карагандинском лагере, как уже говорилось, отец познакомился с тремя членами «Эйникайт». Наиболее близок он был с Аликом Ходорковским, чьи воспоминания приведены выше. Прейгерзон любил его как сына, проводил с ним много часов.

Двумя другими лагерниками из «Эйникайт» были Илья Мишпотман и Саша Сухер. Первый, двоюродный брат Алика, в лагере работал простым рабочим. Отец любил его за разумную, здоровую логику.

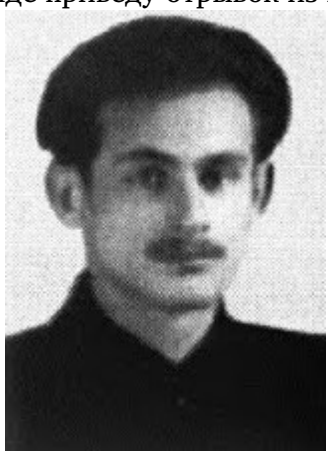
Саша был интеллигентен, обладал острым умом и умелыми руками. Саша провел в жмеринском гетто более двух лет, пережил там многое. В частности, румыны закапывали подростка в землю, оставляя снаружи лишь голову.

Еще с тремя парнями из «Эйникайт» отец познакомился в лагере в Воркуте, где провел более трех лет лагерной жизни. Скажу здесь о них.

Миша Спивак, получивший 25 лет, также прошел ад гетто…

Володя Керцман, любимец девушек, был самым красивым из жмеринских парней. Таня, единственная девушка в их группе, получившая восемь лет, была Володиной девушкой.

О Меире Гельфонде приведу отрывок из книги отца.



Меир Гельфонд

> Перехожу к Меиру Гель-фонду, наиболее талантливому из парней «Эйникайт». Он был яркой и необычной личностью. Приятный на вид, черноглазый, с пронзительным взглядом, крепкими зубами. У него был сильный мужской голос, он обладал хорошим слухом, был остроумен. Следует отметить его острый ум, силу воли, целеустремленность, усидчивость. Он был единственным в лагере, решившим серьезно изучать иврит. И в течение нескольких месяцев действительно

научился говорить на иврите. Я обучал его планомерно, изо дня в день, учил его устно (письменные занятия в лагере были нежелательны из-за частых обысков). Он хорошо успевал. До ареста он учился в медицинском институте, в лагере работал фельдшером.

…Меир был ко всем строг и требователен. А так как нет людей без недостатков, то мне приходилось видеть, как Меир раздражался на несчастных людей. Но основные достоинства человека — острый ум, непоколебимое упорство, целеустремленность — эти качества были у Меира. Все его уважали. О нем я был наслышан еще в Караганде от трех парней группы. Они говорили о нем как о сосуде, наполненном разумом и знаниями. Когда я познакомился с ним, я убедился, что в этом определении не было преувеличения. Меир был настоящим евреем. Будучи работником медицинской части лагеря, он делал много добра заключенным, помогал им освободиться от работы, переводил их на более легкие работы. Он много работал, и его труд был плодотворным. Я любил его и думаю, что если он попадет в соответствующие условия, то сможет стать одним из выдающихся людей своего времени.

(«Дневник воспоминаний»)

Прогноз отца во многом оправдался. После освобождения Меир Гельфонд окончил медицинский институт, стал отличным врачом. После женитьбы на Марине (прекрасной женщине из семьи врачей, близкой к правозащитным кругам) он жил в Москве, работал в терапевтической клинике 1-го Московского медицинского института. В конце 60-х годов Меир организовал один из первых ульпанов в Москве, где обучал ивриту желающих уехать в Израиль. Его учениками была развернута сеть подобных ульпанов. Так что старания и труды моего отца не пропали даром. Вдохновенная любовь папы к ивриту, попав на благодатную почву, дала хорошие всходы, став одним из первых источников, питавших начало алии в Израиль из Советского Союза.

Их дружба с отцом в Москве была не совсем обычной — ведь Меир по возрасту годился ему в сыновья. Но их встречи были полны обоюдного интереса; основным содержанием бесед была судьба евреев, их стремление к отъезду на свою историческую родину. Их дружба продолжалась до кончины отца в 1969 году. Меир любил и чрезвычайно ценил своего учителя и друга. Все парни из «Эйникайт» были реабилитированы после смерти

Сталина. «за отсутствием состава преступления».

В Израиль Меир Гельфонд с семьей приехал в конце 1971 года. Он стал заведующим приемным покоем в одной из крупных больниц Израиля. Много сил он отдал работе по устройству приезжавших в страну новых репатриантов. Однажды, когда я заехала к ним домой в Петах-Тикву, — это было в 1979 году, вскоре после моего приезда в Израиль, — то увидела в салоне их небольшой квартиры довольно много людей. Все они были новыми репатриантами, и все пришли за советом по поводу здоровья или устройства на новом месте. Это было похоже на прием в поликлинике.

Меир по очереди приглашал каждого в соседнюю комнату, помогал решать его проблемы. Дошла очередь и до меня. Померив мне давление, он дал свои рекомендации и обрисовал положение в Израиле с врачами, посоветовав искать работу в наиболее востребованной области медицины. К большому сожалению, через несколько лет Меир умер от рака легких. В больнице на дверях его кабинета была прикреплена медная табличка с его именем. Она и сейчас находится там.

А какова судьба остальных членов группы «Эйникайт»? Все они после реабилитации окончили высшие учебные заведения, в основном технические, работали по специальности. В Израиль тоже репатриировались почти все.

В 2007 — 2008 годах в Тель-Авиве, в Музее диаспоры (*Бейт ха-Тфуцот*), расположенном на территории Тель-Авивского университета, была организована выставка: «Еврейское национальное движение в Советском Союзе». В самом ее начале был помещен большой стенд с фотографиями девяти членов «Эйникайт» с надписью: «Группа „Эйникайт“ из города Жмеринка (фотографии с 1954 г.)». Стенд был представлен Эфраимом Вольфом из Иерусалима, одним из членов группы (он отбывал заключение в Сибири).

В день открытия выставки мы с братом Вениамином видели у жмеринского стенда группу уже немолодых людей, героев борьбы за выезд в Израиль. Был на этой выставке и стенд, посвященный Цви Прейгерзону.

Абезь и Воркута

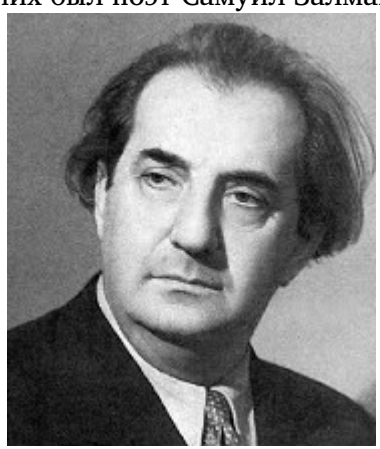
Когда отца переводили из карагандинского лагеря в воркутинский, он не сразу попал в конечный пункт назначения — по дороге его ждали длительные остановки в лагерях Инты и Абези. Во всех местах заключения его больше всего привлекали люди — как евреи, так и неевреи, но особенный интерес всегда и всюду вызывали те, кто знал иврит, с кем он мог поговорить на родном языке.

В Абези папа провел пять месяцев. Там ему пришлось включиться в инженерные работы не по специальности: геодезические расчеты, измерения, проектирование, черчение и многое другое. Природные способности отца, огромная работоспособность и ответственность позволяли ему по ходу дела осваивать новые отрасли инженерной работы, показывать отличные результаты.

Так, части, заказанные по папиным чертежам для обновления старого лагерного паровоза, подошли с точностью. Ремонт завершился успехом, как и любое дело, за которое брался этот разносторонне талантливый человек. Наградой папе было место в списке ударников и бушлат первого срока вместо латанного-перелатанного, который ему поначалу выдали в Инте.

Там же, в Абези, отец продолжил работу над своими изобретениями, впоследствии запатентованными. Именно отсюда он послал на утверждение начатый еще в Караганде проект нового угольного комбайна, а кроме того, завершил расчетную часть работы по проектированию машины для дробления и грохочения угля.

После работы отец встречался с заключенными, которых любил. Первым из них был поэт Самуил Залманович Галкин.



Я немного знал его по Москве и даже однажды был у него дома с Баазовым (в тот вечер, мне помнится, встретил у него певицу Сару Пивик, память о ней да будет благословенна!).

…Галкину было около пятидесяти лет. Это был широкоплечий человек с большой львиной головой. Его тоже постригли в лагере, но и подстриженный лев оставался львом. Галкин — человек большого лирического диапазона, один из самых талантливых в нашей стране. Он писал много и печатался часто. Все написанное им талантливо и поэтично. Галкин был прекрасным собеседником, и каждая встреча и разговор с ним были для меня праздником. При наших встречах я слышал от него стихи, песни, воспоминания. Он знал и иврит, в молодости он даже писал на иврите. Он много рассказывал о своем детстве в белорусском местечке, о своем отце реб Залмане и о своей матери. Галкин любил напевать. Я научился у него многим песням. Галкин (жить ему до 120 лет с его инфарктами!) — очень сердечный человек. Память у него изумительная, он читал мне много своих стихов.

…Галкин стоит перед моими глазами, одетый в бушлат с поднятым воротником, на голове помятая меховая шапка с одним поднятым кверху ухом. Он тянет сани, груженные снегом, по двору лагеря. С ним еще люди, в большинстве старше пятидесяти лет, которых собрали под это северное небо.

Женщины тянулись к нему. Но он любил только свою жену (я убедился в этом, побывав у него в Малаховке). После ареста Галкина она сказала: «Если еврейская литература в тюрьме, то место Галкина там». Вся ее жизнь была в Галкине, она неустанно посылала ему посылки…

(«Дневник воспоминаний»)

В этом же лагере отец сблизился со Львом Стронгиным, бывшим до ареста директором идишистского издательства «Дер эмес» («Правда») в Москве. Когда стали ликвидировать и разрушать все культурные еврейские учреждения, арестовали и его, старого члена партии. Стронгину дали десять лет лагерей.

Здесь же папа познакомился с Жицем, редактором еврейской газеты на идише «Эйникайт». По роду своего долагерного занятия

Жиц хорошо знал многих еврейских писателей, поэтов и журналистов.

Выделялся среди лагерников и поэт Яков Моисеевич Штернберг. Отцу очень нравился этот мудрый, много повидавший человек:

> Это был человек сердечный, культурный, высокообразованный. Он прибыл в Советский Союз из Румынии. Иногда он читал свои стихи (он писал на идише) — всегда было чувство, как будто выпиваешь свежий, бодрящий напиток.
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*

Подружился папа и с заключенным Вайцманом, который хорошо говорил на иврите. До ареста он жил в Кишиневе, был директором еврейской школы. «Мы говорили только на иврите, за это я привязался к нему всем сердцем», — писал отец.

Барак для инвалидов, в котором жил Вайцман (он был старше отца на десять лет), стоял вблизи заградительной зоны. По ту сторону колючей проволоки проходила железная дорога, по которой следовали составы с углем из Воркуты. Один раз в сутки проходил и пассажирский поезд.

> Окна пассажирского поезда были освещены, в них были мужчины, женщины, сидящие у окна или проходящие по вагону. С тоской мы смотрели и завидовали свободным людям в поезде… на глаза невольно навертывались слезы.
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*

В Абези отец впервые увидел северное сияние:

> Бывало, выходишь во двор и, подняв глаза вверх, видишь: всполохи, извивающиеся «змеи» поднимаются в чистое ночное небо, уходят к звездам и растекаются между ними. В воздухе словно проносится золотой ветер. …Все, как зачарованные, смотрят на это явление природы.
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*

В конце декабря 1951 года Прейгерзон доехал-таки до Воркуты, где пробыл вплоть до освобождения из лагеря. Здесь его использовали по специальности. Первые несколько месяцев папа

работал в ОТК на должности лаборанта, а затем в обогатительной лаборатории ЦНИБа — Центрального научно-исследовательского бюро комбината «Воркутауголь». Наум Иосифович Родный, ведущий специалист коксохимической лаборатории, и Елена Ивановна Меленевская, заведующая этой лабораторией, назначили отца на должность научного сотрудника с окладом 1600 рублей в месяц. В 1952 году папе удалось организовать здесь свою углеобогатительную лабораторию

С этого момента отец, оставаясь заключенным, получил, тем не менее, новый лагерный статус, который в итоге помог ему выжить и дотянуть до выхода на свободу и восстановления на работе в Московском горном институте.

Среди общавшихся с отцом заключенных воркутинского лагеря было около полусотни евреев. О многих из них он написал в своем «Дневнике». Расскажу лишь о некоторых — тех, которые оставили наиболее глубокий след в его жизни.

Первым евреем, с которым отец познакомился в Воркуте, был Давид Коган, 34-летний уроженец Аккермана, осужденный в 1947 году за сионистскую деятельность в Бессарабии. В Аккермане он был членом «Гордонии» — молодежной сионистской организации приверженцев А. Д. Гордона, одного из главных идеологов Второй алии в Эрец-Исраэль.

Эту активность Коган проявлял еще до прихода Советов, в период румынской власти. Когда Бессарабия стала советской, Коган переехал в Москву, где работал на крупном строительстве и уже не помышлял ни о Гордоне, ни об Эрец-Исраэль — по крайней мере, никак не выражал этого внешне. Увы, для следователей МГБ сионисты не бывают «бывшими».

Выпускник еврейской гимназии, Давид хорошо знал иврит. В Воркуте он работал бухгалтером в учреждениях по ремонту горного оборудования. Будучи убежденным холостяком, Коган оставался страстным поклонником женщин и частенько сводил на это любой разговор, что нередко являлось предметом пикантных шуток для знакомых и друзей. Общительный и теплый человек, Давид был центром, объединяющим группу евреев в лагере.

Была у него и другая особенность: Давид любил вылавливать в прессе все сообщения, относящиеся к Израилю (как видно, следователи были правы: школа «Гордонии» не прошла даром). Когда в газетах печатались материалы, порочащие Израиль или евреев вообще, Коган непременно зачитывал их вслух и очень огорчался.

В 52-м — 53-м годах такие фельетоны часто появлялись в печати, причем не только в центральной,

но и в провинциальной. То были черные годы для евреев Советского Союза — разгром всех еврейских учреждений, «Дело врачей», массовые увольнения евреев с работы и аресты без всякого на это основания и вины с их стороны. Давид первым узнавал по радио и из газет подобные факты и чутко улавливал слухи. А потом мы обсуждали все это — горстка евреев, вырванных из нормальной жизни и заточенных в лагерную яму на далеком Севере.

Но и здесь, на Севере, учащенно бились живые сердца, мгновенно воспламенялся мозг, безутешно плакала душа.

(«Дневник воспоминаний»)

Самым близким человеком в этом лагере стал для отца Леня Кантаржи. «Он согревал и скрашивал мою жизнь на холодном Севере» — писал папа. Он родился и вырос в Кишиневе, учился в еврейской гимназии, прилично знал иврит и тоже был членом «Гордонии» и еврейской спортивной организации «Маккаби». Лене было 32 года. Как и Давид, он жил в Бессарабии и там был арестован.

Леонид Кантаржи

Свою «десятку» Леня получил по обвинению в нелегальной переправке еврейских парней и девушек через границу в 1945 — 1946 годах. Известно, что в те годы много молодых людей перешли через границу в Румынию, а оттуда продолжили путь в Палестину.

Много вечеров проводили мы с Леней, много говорили, много пели (у Лени замечательный слух,

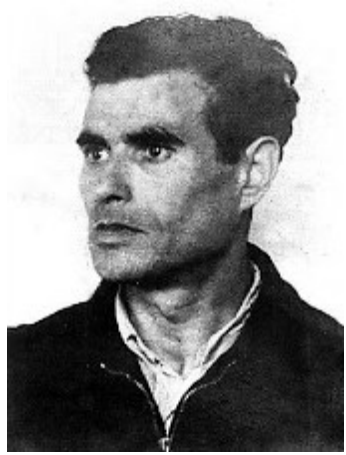
звонкий приятный голос). Пел он красиво — за время нашего общения он спел мне много песен на идише и иврите. Они звучат для меня как молитвы.

…Я любил этого парня, его смех, его душу, его песни, рассказы и жизненные приключения. Мы гуляли вместе по вечерам в течение многих месяцев, вверх и вниз по склону, по дорожке, которую мы называли «юден-стрит».

(«Дневник воспоминаний»)

Иосиф Борисович Керлер родился на Украине. Его юность прошла в одной из еврейских колоний на юге страны. Жизнь там в 30-е годы била ключом Иосиф начал писать стихи на идише, увлекся литературой, переехал в Москву и поступил в театральную студию ГОСЕТа, став учеником Михоэлса. В начале войны его взяли в армию. Получив на фронте тяжелое ранение в лицо, в 44-м году он демобилизовался и сразу уехал в Ташкент, где находился в то время Московский еврейский театр.

В дальнейшем Керлер продолжил писать на идише, печатался в газете «Эйникайт». В Москву он вернулся вместе с театром, был своим человеком в Еврейском антифашистском комитете и сотрудничал с Советским Информбюро, во главе которого стоял тогда Лозовский.



Иосиф Керлер

Керлер был тесно связан с еврейской культурой в Советском Союзе, хорошо знал ее творцов — артистов, певцов, поэтов, писателей и общественных деятелей. И вот этот мир рухнул — погиб Михоэлс, арестованы Зускин, Бергельсон, Фефер, Добрушин, Квитко, Галкин, Маркиш, Гофштейн и еще десятки людей, известных и

> малоизвестных. Были арестованы члены Еврейского антифашистского комитета, ликвидированы еврейские издательства, были закрыты еврейские театры, арестованы певцы народных песен Эппельбаум, Шульман, Любимов и другие. Взорвался мир, в котором жил Иосиф Керлер, и сам он стал жертвой репрессий…
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*

До ареста Керлер был членом Союза писателей СССР. Не обладая никакой подходящей для лагеря специальностью, он работал на общих тяжелых работах — сначала в шахте, а затем кочегаром на паровозе. Потом его направили работать в свинарник — заботиться о принадлежащих начальству хряках и свиноматках. Отец несколько раз заходил к нему туда в компании с Леней Кантаржи.

> Если не принимать во внимание резкий запах, в свинарнике все было довольно сносно. Мощная электролампа освещает свинарник, топятся печи, Иосиф варит картошку. И вот мы трое сидим у стола за сковородкой с жареной картошкой и обсуждаем мировые проблемы.
>
> *(«Дневник воспоминаний»)*

Увы, вскоре с этой «лажовой» работы Керлера сняли. Тогда он устроился ассенизатором. Никто не желал заниматься этим тошнотворным делом, поэтому ассенизаторам шел «зачет» по принципу три дня за день. Иосиф, со свойственным ему юмором, говорил, что Маяковский был ассенизатором революции (ссылка на строчку в поэме «Во весь голос»), а он, Керлер, — ассенизатор контрреволюции.

Несмотря на все эти тяготы, Керлер не прекращал сочинять прекрасные стихи. Одно из стихотворений — *«Вэн их нэм а биселэ яш»* («Когда я выпиваю немножечко водки») — отец положил на музыку. Помимо стихов, Керлер писал рассказы, проникнутые иронией. Несмотря на тяжелую работу, он никогда не опускался, не впадал в депрессию и, как правило, пребывал в приподнятом настроении. Иосиф обладал внимательным и метким взглядом, его характеристики окружающих всегда были точны и остры, как бритва.

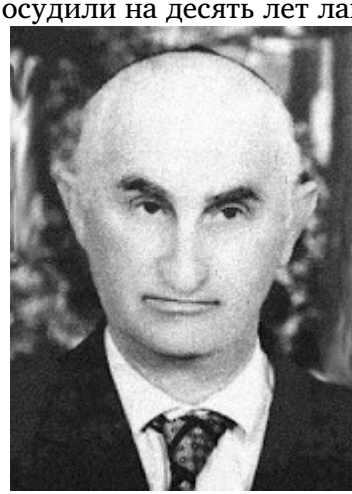
Даже после освобождения удача не спешила улыбнуться Керлеру. Несмотря на то, что он женился на польской гражданке и получил, таким образом, право выехать в Польшу (а оттуда,

конечно, в Израиль), его семье долго не давали разрешения на выезд. Керлеры жили в Москве, но постоянного места работы Иосиф не имел. Его выдающиеся литературные способности не могли быть востребованы — ведь языком этого поэта и писателя был опальный идиш.

Я помню его у нас дома в Москве: после возвращения отца из лагеря их дружба не прерывалась. Мама частенько устраивала сбор средств у общих знакомых в пользу семьи Керлеров, когда тот снова оставался без работы. Когда отец скончался, Керлер как раз получил разрешение на выезд в Израиль. В Израиле он поселился в Иерусалиме, и видеть его нам, живущим в Тель-Авиве, приходилось редко. Керлер написал книгу, в которой отдал дань Цви Прейгерзону, своему другу по воркутинскому лагерю. Сын Иосифа стал впоследствии крупным специалистом в области идишистской культуры.

С особой теплотой пишет отец и о Мордехае Шенкаре: «Это был глубоко верующий человек — он верил в Бога всем своим существом, всей душой». Реб Мордехай родился в Бердичеве. Перед войной работал бухгалтером в городе Львове. Оттуда в начале войны со всей семьей эвакуировался на восток. Его родители и двенадцать близких родственников остались в Бердичеве и были уничтожены нацистами. После окончания войны семья вернулась во Львов — там-то их и нашла беда.

Многие бежавшие от Гитлера польские граждане получили после войны право вернуться на родину — значительная часть из них возвращалась через Львов. Эту возможность использовали некоторые советские евреи, которые выправляли себе фальшивые документы, чтобы также вырваться из Советского Союза. Реб Шенкар и его жена давали пристанище людям, приезжающим с этой целью из других мест. Оказалась среди них и женщина-стукачка. Мордехая осудили на десять лет лагерей.



Реб Мордехай молился три раза в день, отмечал все праздники, исправно постился все дни постов и, самое главное, в лагере ел только кошерную пищу. Все это достигалось героическими усилиями в наших условиях, но реб Шенкар был непреклонен. …Он всячески избегал работать в субботу, причем делал это так, чтобы работающие с ним не обратили на это внимание.

Часами он просиживал за своим рабочим столом, смотрел в бумаги, перекидывал косточки на счетах, но в субботу он не писал. Каждое воскресение я спрашивал его:

— Ну, реб Мордехай, писали вчера?

И получал ответ:

— Слава и хвала Создателю, мне удалось избежать этого греха!

Тяжело приходилось реб Шенкару, когда полагалось молиться стоя. Мне больно было смотреть, как реб Шенкар стоит на стадионе, служившем зимой для свалки мусора, и шепчет молитву «Шмона-эсре».

…Реб Мордехай не искал легких путей. В условиях лагеря питаться только кошерной пищей было чрезвычайно трудно. В столовой он брал только хлеб, сам в своей кастрюльке варил себе крупяные супы. Кое-что он получал из дома (у него дома во Львове соблюдался кашрут), на Песах он получал мацу.

…Реб Мордехай верил всей душой в Бога, он знал, кому молиться, у кого искать утешения. Молитва смягчала его душу, давала ему надежду.

Реб Мордехай как никто помогал нуждающимся. Он отдавал им значительную часть своего заработка. Помимо этого, он собирал деньги для этой цели и у других зэков. Он навещал больных, заботился о них, приносил им еду.

…В конце 54-го года на свидание к реб Шенкару в Воркуту приехала его жена и привезла ему маленький молитвенник. Для него это был самый дорогой подарок, он был счастлив. Я взял у него молитвенник и в течение нескольких дней выучил наизусть «Шир ха-ширим» («Песня песней»). Для меня это оказалось бесценным подарком. Ежедневно я повторял «Песню песней» и каждый раз находил в этом бриллианте все новые и новые грани. Реб Мордехай тоже выучил «Песню песней» наизусть. По вечерам, во время прогулок, мы читали это

произведение вслух и находили все новые и новые красоты и поэтические образы, подобных которым нет в мировой литературе.

(«Дневник воспоминаний»)

Одним из первых моих визитов по приезде в Израиль (1978 год) было посещение семейства Шенкар. Реб Мордехай сразу же предложил мне материальную помощь — продолжение его беспроцентной кассы взаимопомощи в лагере. Честно говоря, это предложение было тогда нам весьма кстати.

Большой опыт в бухгалтерии и учете, а главное — желание облегчить участь нуждающихся позволили Шенкару помочь большому кругу людей. У меня, как и у моих сестры и брата, до сих пор хранится трогательный документ, свидетельствующий о том, что мы являемся членами кассы взаимопомощи имени Цви Прейгерзона.

Не могу не сказать несколько слов и о дочери Мордехая — Циле Клепфиш. Будучи по профессии педагогом, обладая огромной энергией и умением увлекать людей, она стала прекрасным преподавателем иврита. Ее уроки, периодически звучащие в передачах русскоязычной службы израильского радио, пользуются постоянным успехом у слушателей — даже сейчас, спустя годы после ее смерти.

Когда я перечитываю «Дневник воспоминаний», каждый раз он поражает меня яркостью содержания, интересными подробностями, а главное — глубиной проникновения в суть личности человека, в особенности его поведения в тяжелых лагерных условиях. Отец писал не только о евреях, но и о литовцах, русских, татарах и даже о немцах.

Портрет Ц. Прейгерзона. Рис. художника-зека Бокова. Караганда, 1951 г.

Есть там и страницы, посвященные уголовным преступникам — ворам, хулиганам, грабителям и убийцам. Они были, как правило, отделены от «политических». Но бывали и случаи серьезных столкновений между ними. Уголовники имели в лагере привилегированное положение. Когда во время пересылки «политических» размещали в одном помещении с уголовниками, те издевались над ними, отнимали вещи, еду, осыпали оскорблениями. Иногда дело доходило до поножовщины.

Отцу удавалось избегать подобных ситуаций, так как уголовники очень любили послушать увлекательные истории. И отцу иногда приходилось пересказывать ворам какой-нибудь интересный рассказ, чтобы они утихомирились. Особенно они любили слушать рассказ Марка Твена о банкноте в миллион фунтов стерлингов…

После смерти Сталина («Ус», как называли его в лагерях) начались изменения. Сначала освободили заключенных с маленьким сроком — до пяти лет. Затем вышли несовершеннолетние, инвалиды и отбывшие две трети срока заключения. И хотя все это тянулось очень медленно, у людей появилась надежда на освобождение. Лабораторию отца вывели в рабочую зону. Дважды в день со своей алюминиевой ложкой он ходил в лагерную столовую. Утром шел через вахту на работу, а вечером — через ту же вахту в жилую зону. В конце 1954 года стали разрешать свидания с близкими родственниками, и мама дважды приезжала к отцу в Воркуту.

В начале 1954 года ЦНИБ комбината «Воркутауголь», в

структуре которого находилась лаборатория отца, был превращен в филиал ВУГИ (Всесоюзного научно-исследовательского института угольной промышленности), находившегося в Москве. Отделение ВУГИ послало несколько просьб о переводе отца на работу вне зоны, но лагерное начальство отказывало. Максимум, на что они были согласны, — выдать ему пропуск на право находиться вне зоны с шести утра до шести вечера. Тогда было принято решение перевести папину лабораторию в поселок Рудник, в лабораторное отделение ВУГИ.

Там отцу уже приготовили отдельную жилую комнату на тот случай, если начальник лагеря все же дозволит ему жить вне зоны. Но такое разрешение долго не давали, и отцу приходилось дважды в день в любую погоду преодолевать пять километров — расстояние от лагеря до Рудника.

К концу 1955 года ветер перемен усилился: ввели категорию «облегченного режима», в которую попал и Цви Прейгерзон. Теперь он должен был возвращаться в лагерь лишь на ночь. К этому времени относится дружба отца с семьей Сольц — Хаимом Рувимовичем и его женой Нехамой. Они были родом из Каунаса, знали иврит, а поженились в 1939 году, еще в буржуазной Литве. Хаим был осужден по стандартному обвинению в национализме и провел в лагере семь лет. Нехама и их дочь Сара жили в это время на востоке страны и после освобождения отца приехали к нему в Воркуту. Они поселились в поселке Рудник. Осенью 1955 года у них родился сын, которого назвали Рувим.

Хаим, Нехама и Сара Сольцы. 1955 г.

> В доме Сольцев царил дух иврита, это был по-настоящему еврейский дом на Севере. Хаим и Нехама принимали зэков с радостью. Когда мы получили пропуска, каждый из нас нашел дорожку к этому приветливому дому, к светлому приветливому дому, к светлому очагу. Там я встречался с Иосифом Керлером, Леней Кантаржи и Давидом Коганом. Реб Мордехай

Шенкар был в этом доме как член семьи — он варил для себя кошерную пищу (Нехама помогала ему в этом). Кроме людей нашего лагпункта там я познакомился с Иосифом Борисовичем Урманом и его женой Кларой Исаевной. С Абрамом Бендесом и его женой Этеле, с Идой Потик, с Хайчуком и его женой Рут, с Линой и ее прекрасным мужем Мошковичем. Большинство этих хороших людей я, конечно, уже никогда в жизни не увижу, но до последнего дня буду их помнить.

Все мы, жившие собачьей жизнью в затхлом бараке на голых нарах, впервые почувствовали себя у Сольцев как дома. Там сложилась какая-то особо теплая еврейская атмосфера. Приходить в их дом было для меня праздником.

Я провел у них много часов. …Говорили на иврите (к сожалению, не все знали иврит), пели еврейские народные песни, иногда даже выпивали… Было хорошо. Возможно, даже лучше, чем сейчас… Некоторые из нас всем сердцем стремились уехать в Израиль — большинству это удалось.

(«Дневник воспоминаний»)

Начальство лагеря продолжало сопротивляться выводу отца за зону. Но в августе 55-го года пришел патент на изобретение отца, которое он сделал еще в Караганде вместе с Андреем Павловичем Усовым. Патент был вручен папе лично начальником лагеря, и вскоре отец, оставшись в статусе заключенного, был выведен за зону. В лаборатории его ждала заново отремонтированная комната. Теперь он должен был приходить в лагерь лишь раз в неделю — отмечаться.

Второй раз мама навестила папу в ноябре 55-го. Они жили в его комнатке. Стояла уже полярная ночь, все было засыпано снегом. Лаборатория находилась под горой, и чтобы навестить Сольцев, приходилось долго и трудно подниматься по заснеженному склону. Мама рассказывала, что когда надо было идти назад, она просто садилась на снег и съезжала вниз, как на салазках. Она быстро перезнакомилась со всеми местными папиными друзьями и товарищами. А потом, в дальнейшем, тепло принимала их, когда они останавливались проездом у нас в Москве.

12 декабря 1955 года отец получил извещение о полной реабилитации. Конечно, он устроил хороший «выпивон». Все товарищи по заключению пришли к Сольцам, где с помощью Нехамы был устроен большой праздник.

Было очень приятно и весело. Мы пели на иврите и идише, ощущали себя братьями. Что-то теплое и радостное объединяло нас — это и страдания, которые мы пережили, и, может быть, наши надежды на будущее, на ожидающую нас новую жизнь. Мне трудно забыть квартиру Сольцев, мне не забыть товарищей по заключению, пострадавших от руки деспота ни за что, и их исковерканной жизни. Нас объединяла какая-то душевная близость.

(«Дневник воспоминаний»)

Дружбу с Сольцами наша семья продолжала много лет в Израиле. Они были постоянными участниками всех мероприятий, посвященных Цви Прейгерзону в Израиле.

Всего заключение отца продолжалось 6 лет, 9 месяцев и 12 дней.

Несмотря на желание мамы и всей нашей семьи, папа не приехал в Москву сразу после освобождения. Это решение лучше всего свидетельствует о необыкновенном чувстве ответственности, которое характеризовало моего отца. Он чувствовал себя обязанным завершить программу своей научной работы и подготовить отчет. Надо было обработать огромное количество данных — таблиц, цифр, анализов и т. д.

Папа работал день и ночь и в начале февраля 1956 г. вместе с сотрудниками прибыл в Москву с отчетом. Доклад делал папа в Министерстве угольной промышленности. Отчет был принят и отмечен похвалой. Каковы были первые впечатления Цви Прейгерзона от Москвы?

В Москве на Северном вокзале меня встретили жена, дочь (это я — *Н. Л.*) с мужем и мои друзья. Встреча была праздничной и трогательной. Мы стояли группой на Комсомольской площади около вокзала в ожидании такси. Внезапно подошел к нам мужчина лет 40 и громко сказал: «Эй, жиды, е… вашу мать, вы чего тут собрались?» — это были первые слова, которые я услышал в Москве после семи лет отсутствия.

Возможно, этот тип был пьяный, и вообще такое случалось редко, но эти оскорбительные слова засели в сердце и не забываются.

(«Дневник воспоминаний»)

Побыв в Москве короткое время, отец снова уехал в Воркуту,

чтобы завершить большой проект, над которым работал в углеобогатительной лаборатории. Окончательно он возвратился в Москву лишь через год, в начале 1957-го, и сразу же приступил к работе в Горном институте

После освобождения

Выйдя на свободу, отец вернулся к литературному творчеству и к интенсивной научно-преподавательской работе. Переправка и публикация рукописей в Израиль была постоянным желанием Цви Прейгерзона: каждый писатель хочет, чтобы его произведения читались. Но несмотря на определенные послабления, жизнь в Союзе оставалась предельно несвободной и после смерти Сталина.

В условиях холодной войны было по-прежнему невозможно выехать за рубеж или переслать туда что-либо. Власть в дальнейшем преподала наглядный урок, организовав травлю Бориса Пастернака, передавшего за границу роман «Доктор Живаго», и устроив судебный процесс над обвиненным в тунеядстве Иосифом Бродским. Однако отцу судьба дала шанс, который приблизил его к заветной цели.

Йосеф Авидар

В 1955 году послом Израиля в СССР был назначен Йосеф Авидар — генерал, видный общественный деятель, а по совместительству — двоюродный брат Цви Прейгерзона. Их матери были родными сестрами. Семья Рохель (а именно такой была прежняя, до-израильская фамилия Йосефа) приехала в Землю Обетованную в 20-е годы. Все члены семьи, родители и девять детей были активными сионистами и знали иврит. Дети получили хорошее образование, заняли видное положение в израильском обществе.

Лишь старшая дочь Малка училась во время отъезда семьи в России и осталась с мужем в Москве. Впоследствии она

рассказывала: однажды ее вызвали в КГБ, спросив, не хочет ли она посетить израильское посольство и повидаться со своим братом, послом этой страны

— Нет, ни в коем случае! — испуганно отвечала Малка.

— Правильно, правильно — одобрительно кивнул головой гебешник.

— Ну, а если он навестит вас дома? — не отставали любезные чекисты.

— Тогда конечно…

Израильское посольство в то время было запретной зоной, к которой опасались даже приближаться. Малка рассказала, что в заранее условленные дни встреч с Йосефом на улице Готвальда, где она жила, и в ближайших переулках появлялись черные «Волги». Перепуганные соседи по квартире пожимали плечами: не иначе как кто-то из правительства почтил их район своим высочайшим визитом!Отец несколько раз посетил Малку в эти дни, чтобы повидаться с двоюродным братом.

Спустя много лет Йосеф Авидар написал в своих воспоминаниях:

> Впервые я встретил Цви Прейгерзона после его освобождения из лагеря. Первые встречи происходили в доме моей сестры, где мы принимали все меры предосторожности. Это были незабываемые встречи. Меня и мою жену Ямиму поражали его любовь к ивриту, творческое горение писателя и решимость продолжать писать, несмотря на опасность, которой он подвергался.
>
> В комнате сестры мы разговаривали только на дозволенные темы, так как подозревали, что в стены были вмонтированы подслушивающие устройства. Цви рассказывал о своей преподавательской и исследовательской работе в области обогащения угля. Он продолжая работать по специальности и в годы заключения. Когда же мы касались запретных тем, то писали записки. Затем мы сжигали их и уничтожали пепел. Таким образом мы договорились о том, как будут переданы мне его рукописи.
>
> В 1957 году состоялся фестиваль молодежи и студентов, на который прибыла также делегация из Израиля, состоявшая из двух групп по 100 человек каждая — сионистской и коммунистической. Вопреки запрету на встречи с иностранцами, москвичи, особенно молодежь, общались с гостями, беседовали, задавали бесчисленные вопросы. Московская публика обрела

наконец свободу, какой до сих пор не знала.

Центральные улицы были заполнены народом, люди стояли на каждом углу. Да и мы, осмелев, гуляли с Цви по улице Горького, считая, что можно разговаривать свободно, тем более, что говорили мы на иврите. Цви рассказал нам тогда, что ему приходится преодолевать языковые трудности, ведь иврит пополняется новыми словами, терминами, оборотами. Он постоянно бывал в Библиотеке Ленина, читал книги, словари, доступную израильскую коммунистическую газету «Коль ха-ам», выписывал новые слова и выражения. Он пытался читать между строк, чтобы понять, что на самом деле происходит в Израиле. Цви, как и всякий писатель, хотел, чтобы его произведения увидели свет, чтобы их прочитали.

Получив от него пачку рукописей, я считал само собой разумеющимся их опубликование в Израиле под псевдонимом. Но Цви сказал, что это может стать причиной второго ареста и что вряд ли он его выдержит. Его замечательные рассказы, отправленные нами в Израиль, были опубликованы без имени автора в машинописном варианте и в крайне ограниченном количестве экземпляров (всего 40 копий).

Их передавали из рук в руки только надежным проверенным людям, оберегая от посторонних.

Когда я приехала в Израиль, Йосеф Авидар передал мне этот сборник рассказов Прейгерзона, ставший библиографической редкостью, со словами: «Тебе он нужнее!»

Я перелистала эти полторы сотни пожелтевших от времени страничек. Не было ни выходных данных, ни даты публикации, ни имени автора — настоящего или вымышленного. Если бы остальной архив не оказался впоследствии в Израиле, пропала бы и эта часть творчества Прейгерзона.

Сборник, отпечатанный на машинке, содержит несколько довоенных новелл и 12 рассказов, написанных сразу по окончании войны с 1945 по 1948 год, т. е. вплоть до ареста. Все эти рассказы — о судьбе еврейского народа, о трагедии, обрушившейся на него, о попытках возрождения еврейских традиций после войны. Сборник завершается разделом «Из лагерных стихов». Там 11 стихотворений, написанных в период пребывания в лагерях. Они полны печали и юмора, большинство из них папа положил на музыку, и их пели в лагере он сам и его ивритоязычные друзья.

Большую часть своих долагерных рассказов отец к 1968 году переработал с учетом изменений, происшедших к тому времени в языке. Уже в этом виде они вошли в книгу рассказов «Хевлей шем» («Бремя имени»), выпущенную в Израиле в 1985 году в издательстве «Ам овед», и в переводе на русский в Санкт-Петербурге в 1999-м.

Но вернемся в конец 50-х. Отец вел активную жизнь, по утрам делал зарядку, много ходил и очень много работал. Вскоре после возвращения из Воркуты он стал жаловаться на боли в сердце — появились признаки стенокардии. В декабре 1959-го он перенес тяжелый инфаркт миокарда и был госпитализирован в новую тогда больницу Минздрава СССР. Туда направляли сотрудников министерств, и часть мест предназначалась для профессорско-преподавательского состава.

Это было многоэтажное, величественное здание с высокими потолками и до блеска надраенными паркетными полами. К тому моменту я уже успела поработать в ряде больниц, и мне было нетрудно увидеть различия. В клиниках и районных больницах все сотрудники — от врача до санитарки — были по горло завалены работой и имели соответствующий вид.

Здесь же все выглядело по-другому. Лечащий врач отца выходила на обход на высоких каблуках и с великолепной прической. В палату вплывало вместе с ней облако духов, а из-под кокетливого халатика виднелось модное платье. Просто картинка! Я заметила, что и другие врачи, тоже в большинстве своем молодые красивые женщины, как бы соревнуются между собою в элегантности. Невольно возникала мысль, что на работу в это представительное отделение принимали красивых женщин по рекомендации вышестоящих лиц.

По правилам того времени больной с инфарктом должен был не менее месяца неподвижно лежать на спине. Позже медицинский подход к таким больным стал принципиально иным. И вот, когда месяц «лежания» подходил к концу, случилось ЧП. В Москве выявили больного черной оспой (болезнь была завезена из Индии), и Минздрав приказал сделать прививки всему населению Москвы.

Однако прививка оспы тяжелым больным, находившимся в больнице, была совершенно неоправданной. После нее у отца поднялась температура, появились изменения на ЭКГ. Маме сообщили, что у мужа повторный инфаркт и что вряд ли он сможет его пережить. А пока что ему предписали лежать на спине еще целый месяц. Что делать? Я понимала, что нужно срочно принимать какие-то меры, но какие?

Мне удалось выяснить, что консультантом этого отделения является известный терапевт, заведующий кафедрой терапии 1-го Московского медицинского института профессор Смирнов.

Мне сказали также, что он не любит, когда ему напоминают о «Деле врачей»: профессор и сам был участником тех событий и остался жив лишь чудом, вследствие смерти Сталина. Кстати, эта «представительная» больница тем и жила: при весьма посредственных врачах у них была возможность приглашать для консультаций крупных специалистов.

На следующий день я приехала на Большую Пироговскую в клинику Первого мединститута. В ту пору я, молодой врач, была чрезвычайно застенчива, и для меня было сущей мукой обратиться к известному пожилому профессору. Но ведь это — для отца. Собрав все свои душевные силы, я вошла в кабинет. Залпом выпалив короткое медицинское резюме, я попросила Смирнова осмотреть отца. Отметила также, что отец крупный ученый и что он не так давно вернулся из лагеря.

Профессор спросил фамилию, я ответила: Прейгерзон. Помолчав, он сказал:

— Завтра я там консультирую. Я его посмотрю, но только если лечащий врач мне его представит. Сам я вызывать его не буду.

Не знаю, что было причиной такой холодности. Возможно, не очень благозвучная фамилия? А может, Смирнов не хотел, чтобы думали, будто он уделяет особое внимание бывшему зэку? Так или иначе, но сказал он именно это.

На следующий день папа уже лежал на боку. Он встретил нас с мамой, как всегда, с улыбкой. Сказал, что сегодня его осмотрел профессор, что второго инфаркта у него нет и что столь долгая неподвижность сердечника равносильна смерти. Необходимо сегодня же начинать поворачиваться с боку на бок, завтра нужно сесть, а затем начинать ходить и уже через три дня выписаться домой.

Я так никогда и не узнала — представила ли лечащий врач отца на консультацию как тяжелого больного или все же профессор Смирнов сам попросил осмотреть пациента с повторным инфарктом. Больше я с ним не встречалась, но благодарности моей к нему нет предела.

Не явилась ли эта ситуация одним из побудительных мотивов создания романа «Врачи», который отец, к сожалению, так и не успел закончить?

Помню, как я сижу у его постели, наконец-то представилась возможность поговорить. Папа рассказывает мне трогательную историю, которая недавно взволновала его. У отца в шкафу стоит

солидная книга (772 стр.) — это монография Д. Б. Левинсона и Г. И. Прейгерзона «Дробление и грохочение полезных ископаемых» (М.-Л., 1940.) А рядом — копия этой книги, изданная в Китае. Она отличается от русского издания более высоким качеством бумаги, а на первой странице — печати нескольких китайских учреждений.

Так уже в то время в Китае использовали научные достижения других стран. Эту книгу привезла отцу аспирантка-китаянка, работавшая под его руководством над диссертацией в конце 50-х годов. Как я поняла из очень скромного папиного рассказа, она просто боготворила своего преподавателя и, приехав после отпуска, привезла отцу подарок — большого фарфорового Будду.

После папиного выздоровления этот Будда считался в нашей семье символом здоровья. Он и теперь стоит у меня в гостиной на видном месте. Эта история закончилась трагически: когда отношения Китая с Советским Союзом испортились, китаянку отозвали на родину. Прощаясь, она знала, что навсегда расстается не только с любимым преподавателем, но и, скорее всего, с жизнью: в Китае уничтожали всех, кто был связан с Советским Союзом.

Но вот у папы в руках появляется длинный список всех тех, кто так или иначе помогал ему в больнице: санитарки, медсестры, врачи. Мы отмечаем, кому что подарить. Два дня я металась потом по магазинам, покупала зонтики, перчатки, сумки, конфеты и многое другое. Отец никого не забыл. Я принесла эти подарки за день до выписки. Все с сожалением расставались с этим пациентом. Здесь, как и везде, отец пользовался особым вниманием и теплым отношением. Несомненно, его мягкий юмор, скромность, деликатность привлекали к нему людей.

До второго инфаркта, который унес жизнь моего папы, оставалось еще десять лет.

Это последнее десятилетие папиной жизни было необыкновенно плодотворным Отец обладал огромной работоспособностью и был исключительно организованным человеком. Днем — интенсивная преподавательская и научная деятельность в Горном институте, во второй половине дня — Ленинская библиотека, чтение новых изданий на иврите. Вечерами он любил прогуливаться с друзьями, беседуя с ними на языке своего призвания. В остальные часы он писал книги по специальности: его научно-исследовательские публикации и учебники для студентов выходили каждые два-три года. Ну, а ночные часы принадлежали литературному творчеству на иврите.

В этот период папа написал ряд повестей и рассказов о жизни

евреев в Союзе после войны, о Холокосте, о возрождении еврейских национальных традиций. В 1962 году был закончен роман «Когда погаснет лампада», начатый еще во время войны. И снова встал вопрос о пересылке рукописей в Израиль. Авидара уже не было в Москве: он закончил свою каденцию в 1958 году. На сей раз на выручку пришло знакомство с Давидом Бартовом, который в то время работал первым секретарем израильского посольства в СССР. Вот, с небольшими сокращениями, его воспоминания — бывшего судьи, дипломата, руководителя «Натива»:

Давид Бартов

Вскоре после моего приезда в СССР для работы в нашем посольстве (дело было в 1964 году) я встретился с Цви Прейгерзоном около Большой московской синагоги. Сосватал нас Исраэль Минц, узник Сиона, с которым я также познакомился в те дни. Имя Прейгерзона было мне знакомо, я читал его «Приключения Вениамина Четвертого», но не знал, что автор живет в Москве.

Мы сразу же ощутили расположение друг к другу. Постепенно, от встречи к встрече, во мне неуклонно росло чувство глубокого уважения к этому человеку. Разговаривали мы на иврите. Удивительно, ведь Цви десятки лет был оторван от живого разговорного языка, и тем не менее он великолепно владел им!

Обычно мы встречались возле синагоги или на концертах еврейской песни. Цви рассказывал о различных периодах своей жизни и о литературном творчестве. Он был откровенен со мной, думаю, он хотел завоевать мое доверие и в то же время решить для себя, может ли он положиться на меня в переправке своих рукописей в Израиль.

Мне особенно — запомнилась одна наша беседа, когда он с волнением рассказывал о новом произведении, над которым тогда работал, — о «Деле врачей». Он сказал, что часть материала находится при нем. Я предложил ему передавать мне рукописи для переправки в Израиль, так же, как в свое время он передавал их нашему послу Йосефу Авидару. Цви с радостью признался, что это было его самым заветным желанием.

Мы договаривались о наших будущих встречах, при этом избегая встречаться в одном и том же месте, в одно и то же время. Как только он передавал мне очередную рукопись, завернутую в газету, мы сразу же расставались. Материалы хранились в нашем посольстве до тех пор, пока не появлялась возможность переслать их в Израиль. В Израиле все материалы попадали в надежные руки Шауля Авигура, который в то время стоял во главе «Натива». Шауль очень поощрял мои контакты с Цви. Именно он перед моим отъездом в СССР просил меня любыми способами добывать рукописи Цви Прейгерзона и других еврейских писателей.

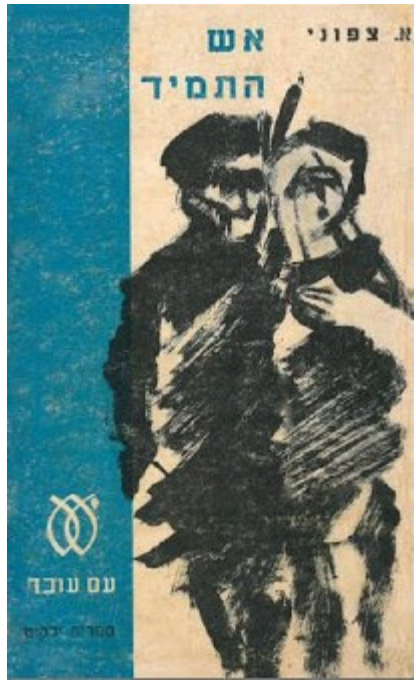
Я передал Прейгерзону предложение опубликовать в Израиле его роман «Когда погаснет лампада» под псевдонимом. Цви отнесся к этой идее с опаской и сказал, что даст ответ в течение недели. Я ждал с волнением. При следующей встрече он сказал, что согласен. А книга в это время была уже в печати. Ей дали другое название — «Эш ха-тамид» («Вечный огонь»), а автору присвоили псевдоним А. Цфони (Северный). Книга вышла в издательстве «Ам оведа» («Рабочий народ») в 1966 году.

Вскоре я получил первый экземпляр книги. На обложке было написано: «А. Цфони — ивритский писатель, проживающий в Советском Союзе». И вот на очередном еврейском мероприятии я, завернув книгу в газету, прошу Эстер, мою жену, передать ее Цви.

Издалека, затаив дыхание, я наблюдай за действиями Эстер, и мне казалось, что операция по передаче книги длится часы, а не считанные минуты. Прейгерзон ощупал пакет и даже заглянул внутрь. Волнение его было таково, что я боялся, как бы он не лишился чувств.

Наша последняя встреча состоялась 30 мая 1967 года на ступенях Концертного зала имени Чайковского.

Там должен был состояться концерт Нехамы Лифшицайте. В последний момент концерт отменили, и нам представилась редкая возможность длительного разговора.



И еще из воспоминаний Давида Бартова:

> Было ясно, что Прейгерзон продолжает интенсивно работать, но делает это в большой тайне не только от окружающих, но и от своих детей. Забота и тревога за жену и детей занимали все его мысли. Он неоднократно говорил, что его арест и ссылка принесли много горя семье, и ему бы не хотелось, чтобы это повторилось.

Чувство вины, которое отец испытывал перед семьей, и заботы о нашем благополучии вынуждали его держать в тайне от детей свою связь с сотрудниками израильского посольства. Мы ничего не знали ни о передаче рукописей, ни о напечатанных в Израиле произведениях, даже не слышали, что у него появился псевдоним «Не знает — значит, не замешан» — по-видимому, отец руководствовался тогда этим правилом.

Ц. Прейгерзон с сыном Вениамином 1968 г.

«Когда погаснет лампада»

Роман «Вечный огонь» («Когда погаснет лампада») — это история о жизни Гадяча — небольшого украинского городка Полтавской области в период 1939 — 1942 года. Существенную долю населения Гадяча составляли евреи. За основу сюжета отец взял историю семьи Фейгиных.

Повествование о мирных довоенных годах сменяется рассказом об уничтожении евреев. Лишь возле могилы великого цадика Шнеура Залмана из Ляд, где с момента его смерти горел негасимый огонь, чудесным образом спасается небольшая группа евреев. Этот роман — художественная эпопея, написанная великолепным мастером слова. Она читается с большим интересом, сопровождаемым глубокими эмоциональными переживаниями.

О факте выхода книги в Израиле мы узнали только после папиной смерти. Помню радость, которую я испытала, увидев в архиве отца эту книгу, изданную еще при его жизни, — книгу, которую он смог подержать в руках, открыть, насладиться ею. Ценой огромных усилий, риска, пройдя все круги советского ада, отец все же увидел плоды своего труда.

Читатели и критики в Израиле встретили роман с необыкновенным интересом, он был очень популярен. Я видела в архиве отца стопку вырезок из газет и журналов — это были статьи о романе, появившиеся в израильской прессе и присланные его друзьями.

Изданный в 1966 году, роман стал первой публикацией Прейгерзона после длительного перерыва, да еще и не под своим именем. Его ранние рассказы, как уже говорилось, печатались в ивритских изданиях в 1927 — 1934 годах, когда еще имелась возможность посылать рукописи за границу. Затем наступили три десятилетия молчания. За эти годы сменилось поколение израильских писателей и читателей. Многие уже не помнили прежние публикации Прейгерзона. Так, волею судеб, писатель Цви Прейгерзон, теперь уже А. Цфони, заново завоевал читательскую аудиторию в Израиле.

В эти же годы в газете «Давар» были напечатаны два больших рассказа отца: «Иврит» и «Двадцать героев», также имевших большой успех в Израиле. Они свидетельствовали о том, что невзирая ни на какие запреты, иврит в Советском Союзе не сломлен, что он звучит даже в тюремных застенках, что живы еще надежды на возрождение языка, еврейских традиций, еврейской религии. Тогда же «Иврит» был рекомендован для внеклассного

чтения в израильских школах.

В 1967 году, незадолго до Шестидневной войны, моя мама, Лея Прейгерзон, поехала в гости к своему брату в Тель-Авив. Заявление на визу она подавала вместе с отцом, но он получил из ОВИРа отказ: бывший узник Сиона был лишен права на выезд. Вернувшись, мама привезла много благоприятных и благодарственных отзывов о романе. Везла она и немало подарков, но большинство из них было украдено из багажа в аэропорту Шереметьево.

В июне 1967-го началась Шестидневная война. Советский Союз расторг дипломатические отношения с Израилем, посольство в Москве было закрыто.

Здесь самое место еще раз с благодарностью вспомнить Йосефа Авидара и Давида Бартова, при помощи и посредстве которых была установлена реальная связь писателя Цви Прейгерзона с его духовной родиной. Хочу также особо поблагодарить Шауля Авигура, который стоял в то время во главе «Натива». Он всячески поощрял пересылку произведений отца, бережно хранил их (а в отсутствие автора забота о безымянных рукописях приобретает особое значение), был инициатором их публикации. Я сожалею, что не смогла лично передать ему эти слова благодарности: Шауль скончался 1978 г, в год моего приезда в Израиль.

Со времени опубликования романа «Вечный огонь» («Когда погаснет лампада») прошло почти пятьдесят лет, но его история живет и продолжается. Одна из героинь романа — девочка Тамара, внучка Фейгиных, которая в июне, перед самым началом войны, была отправлена из Москвы на лето к бабушке и дедушке в город Гадяч. Война началась на второй день после ее приезда туда. Поначалу дед с бабушкой не решались отправлять обратно двенадцатилетнюю девочку без сопровождения, а затем связь с Москвой оборвалась. В город вошли немцы.

Содержание романа в этом эпизоде фактически повторяет реальные события. Прототипом Тамарочки Фейгиной стала Фаина Сивашинская из семьи близких друзей наших родителей, подруга моего детства.

Дедушку Фаины немцы забрали на работы — расчищать завалы после бомбежек. Несколько дней спустя он не вернулся домой: его расстреляли одним из первых, когда невдалеке от стройки был обнаружен убитый партизанами немец. А вскоре начались акции по уничтожению евреев. Вначале собирали тех, кто приходил добровольно, послушавшись развешенных повсюду объявлений и приказов. Потом стали сгонять тех, кто прятался по домам.

Фаина была умной и решительной девочкой. Она объявила бабушке, что убежит в лес. Наутро, на рассвете, незадолго до прихода немцев, она вместе со своей подругой ушла в лес, не имея при себе никаких документов. С большим риском она пробралась в районный центр и попала на прием к коменданту города. Фаина сочинила легенду: ее имя Надежда Макарова, она сирота, их детский дом разбомбили, и она просит выдать ей документ, удостоверяющий ее имя.

И тут произошло чудо: комендант выписал ей направление в детский дом города Ромны. Трудно представить себе, что перенесла девочка в течение двухлетнего пребывания в этом доме: подозрения, недоверие, упреки. Она жила в постоянном страхе разоблачения. После войны в Москве Фаина быстро нагнала своих сверстников по учебной программе. Она окончила 2-й Московский медицинский институт в одно время со мной и моей сестрой. Большую часть жизни она прожила с мужем в Ленинграде (Санкт-Петербурге), была уважаемым врачом, заведующей биохимической лабораторией, имела научные труды.

А совсем недавно Фаина попала в неприятную ситуацию, о которой мне поведал ее двоюродный брат, наш давний московский друг, математик, профессор Тель-Авивского университета Гриша Сивашинский. Он сказал, что Фаина находится в затруднительном положении. Ее единственный сын, специалист по судостроению, в начале 90-х годов эмигрировал с семьей в Канаду. Через некоторое время потянулись за ним и родители. Но вот беда: вида на жительство у них нет, а сын еще не вполне определился с работой и, с точки зрения иммиграционных властей, не может взять родителей под свою опеку. Короче говоря, стариков предупредили о возможной депортации.

Гриша Сивашинский сказал, что Фаине мог бы помочь подтвержденный статус человека, пережившего Холокост, то есть попавшего в район немецкой оккупации, — для таких людей иммиграционные законы значительно мягче. Но вот беда — у нее остались лишь страшные воспоминания, а документов никаких нет. Мы с сестрой и рады были бы стать свидетелями, но оказалось, что ими могут быть только те, кто лично был рядом с Фаиной в то время и на том месте. Поди сыщи теперь таких свидетелей, да и остался ли кто-нибудь в живых? В общем, положение казалось безвыходным.

И тут я подумала: а не поможет ли здесь роман Цви Прейгерзона? Ведь он в точности описывает ее историю. Вот только имя там — Тамара Фейгина. Как доказать, что Фаина Сивашинская была ее прототипом? К счастью, я вспомнила, что в

архиве отца должна быть запись его бесед с Фаиной Сивашинской.

В самом конце войны, когда Фаина добралась наконец до Москвы, она часто гостила у нас, и папа, уединившись с ней в кабинете, долго ее расспрашивал. Было ясно, что он интересовался подробностями ее жизни во время немецкой оккупации. Мы решили разыскать это интервью в надежде, что оно поможет решить проблему.

Нам с Гришей пришлось дважды посетить архив Института имени Каца по исследованию литературы на иврите при Тель-Авивском университете, где хранится творческое наследие Цви Прейгерзона. В коробках архива мы нашли это интервью, оно было помечено мною карандашом русскими буквами во время разборки папиных бумаг еще в Москве. Гриша воскликнул: вот оно! В его руках было то, что мы искали: рассказ Фаины Сивашинской, записанный на иврите рукой моего отца.

Профессор Хагит Гальперин, которая заведует архивом Прейгерзона, любезно согласилась выдать нам необходимые справки, копии и официальные свидетельства на иврите и английском. Не медля, мы выслали книгу и эти документы в Монреаль.

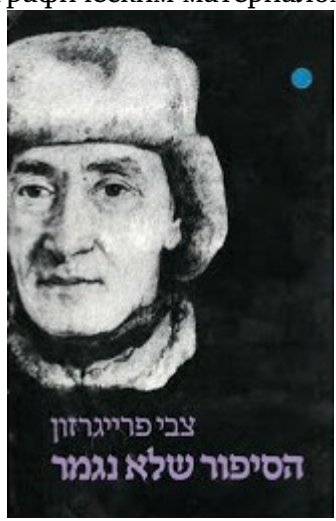
Присланные материалы произвели желаемое впечатление. Раньше иммиграционные власти полагали, что им предстоит принять решение относительно беспомощной пожилой иммигрантки. Теперь же перед ними стоял образ стойкой, умной еврейской девочки, с честью вынесшей страшные годы испытаний и преследований, — образ, с такой силой изображенный Цви Прейгерзоном в его романе.

По рассказу Фаины, это в корне изменило отношение к ней. Иммиграционные проблемы разрешились самым благоприятным образом. А некоторое время спустя ее даже пригласили на специальную пресс-конференцию, где присутствовали депутаты канадского парламента, сотрудники муниципалитета, а также представители еврейских организаций и фондов помощи репатриантам из Советского Союза. Там Фаина подробно рассказала о писателе Цви Прейгерзоне, о его литературном подвижничестве, и о том, что в лагере он обучал ивриту молодых заключенных-евреев. Ну, разве эта история не пример того, что «рукописи не горят»?

В последние годы жизни отец работал над созданием романа-эпопеи «Врачи». Заключительной частью его должно было стать «Дело врачей» — позорная антисемитская кампания по разоблачению «заговора врачей-вредителей», инспирированная Сталиным в 1952 — 1953 гг. Только смерть тирана спасла

советское еврейство от запланированного «окончательного решения» еврейского вопроса.

Незадолго до кончины отец закончил первую часть своего романа. Она во многом автобиографична и рассказывает о жизни еврейской семьи на Украине в период преследований евреев и погромов начала XX века и в первые годы советской власти. В Израиле она была напечатана в 1991 году под названием *«Ха-сипур ше-ло нигмар»* («Неоконченная повесть») в Тель-Авиве в издательстве «*Ха-Кибуц ха-меухад*». Фрагменты из этой книги мы использовали в начале нашего повествования. Они явились прекрасным автобиографическим материалом.



Перевод книги на русский язык, выполненный сыном писателя Вениамином Прейгерзоном, был напечатан в Израиле в 2011 г. Он был удостоен премии Союза русскоязычных писателей за лучшую прозу года на русском языке в Израиле.

Книга читается легко, с большим интересом, несмотря на обилие исторических данных о том печальном для евреев периоде. Привлекает внимание и быт интеллигентной еврейской семьи в небольшом украинском городке, и страницы, посвященные обучению главного героя в гимназии «Герцлия» на Земле Обетованной. С не меньшим интересом читаются главы, где автор рассказывает о многочисленных еврейских погромах и об организации среди еврейской молодежи дружин самообороны.

Мы узнаем из этой книги о сионистских кружках, о молодежи, которая готовится к отъезду на свою историческую родину. Прекрасно описана жизнь в Одессе: русская гимназия, консерватория, Бялик, Клаузнер, канторское пение в Бродской хоральной синагоге, светская иешива, характерный для начала века расцвет еврейской культуры на иврите и на идише.

Затем приходят годы революции, иврит запрещается, в

местечках организуются «суды над хедером». Герой повести, пройдя через службу в Красной армии, становится студентом медицинского института. Очевидно, что в последней части эпопеи ему уготовано трудное будущее: он должен стать одной из жертв кампании «Дела врачей».

Для завершающей части романа папа готовил много материалов. Я видела на его столе большую пачку газетных вырезок, где клеймили врачей — «убийц в белых халатах»; в подавляющем большинстве они носили характерные еврейские фамилии. Среди них были и имена профессоров нашего медицинского института, где я в то время училась на пятом курсе. Отец же был еще в лагере. Хорошо помню общие собрания курса, где объявляли о всесоюзно известных профессорах, изменивших своему партийному долгу. Так говорили об одном из лучших терапевтов того времени профессоре Гельштейне, на лекции которого собиралась вся медицинская Москва. Вскоре он был арестован.

Я ожидала тогда рождения ребенка и, воспользовавшись этим положением, посещала только учебные занятия, пропуская общие лекции, во время которых происходили эти экзекуции. Газеты читать было невозможно, отвратительные антисемитские статьи печатались не только о врачах. «Иссяк Дунаевский» — так была озаглавлена статья о лучшем советском композиторе Исааке Дунаевском в газете «Советское искусство», которую я читала уже в роддоме. А моя сестра Аталия рассказывала, как студенты просили ее подписать кляузное письмо о «плохой» преподавательнице-еврейке. Она отказалась, единственная из всей группы. В то время это был почти героический поступок.

Однажды отец спросил меня, не могу ли я познакомить его с кем-либо из врачей, которые были арестованы в то страшное время и которых освободили после смерти тирана. Я никого не знала. Профессор Гельштейн, с которым я могла бы связаться через его дочь, студентку нашего курса, умер вскоре после освобождения из тюрьмы, еще до возвращения отца из лагеря.

Я спросила отца: для чего это ему нужно? Он ответил, что хотя фактический материал ему известен, он хотел бы послушать рассказ о моральном состоянии этих людей, об их психологических переживаниях в это время.

Впрочем, одну неудачную попытку я все же сделала. На банкете после защиты моей кандидатской диссертации в 1967 году я спросила у нашего товарища, врача Яши Цаленчука, не может ли он побеседовать с моим отцом. В свое время Яша был в аспирантуре у профессора Вовси, известнейшего, выдающегося терапевта, который лечил наших вождей и тоже прошел через

позорную историю «Дела врачей».

— С твоим отцом? Он, кажется, писатель?! — воскликнул Яша и, схватив свою шапку, выскочил из ресторана, даже не дождавшись обещанного цыпленка-табака. В стране все еще господствовал страх.

Последние дни

В 1969 году отец решил круто изменить свою жизнь и ограничиться любимым делом — сочинительством. В начале года он подал заявление о выходе на пенсию. Руководство института пыталось удержать его на занимаемой должности. Папа отказывался:

— Вы можете принять кого-либо из молодых специалистов, например, моего сына, недавно защитившего диссертацию по той же специальности, что у меня.

Несмотря на все возражения, он вышел на пенсию. Оставалось лишь выполнить договор с издательством «Недра»: закончить учебник «Обогащение угля», работа над которым близилась к завершению. И тогда — только иврит, только литература. А также скрипка — любимый инструмент, к которому он много лет не прикасался.

Поет Нехама Лившиц

И вот книга закончена и отправлена в издательство. 13 марта 1969 года отец был на проводах известной еврейской певицы Нехамы Лифшиц (в СССР — Лифшицайте), которую он любил и уважал. С ней он передал данные, необходимые для получения вызова из Израиля, дабы уехать туда с мамой. Вызов нужен был и семьям моей сестры Аталии и брата Вениамина. Я храню эту страничку из записной книжки, любезно предоставленной мне Нехамой. Днем 14 марта отец вернулся домой из магазина радостный, с новыми струнами для скрипки, — начинается новая жизнь! А вечером почувствовал сильные боли в области сердца.

Я с семьей жила в то время на улице Лавочкина, около метро «Речной вокзал». В воскресенье, 15 марта, рано утром, раздался звонок в дверь. Мы недавно переехали на новую квартиру, телефона еще не было. Это был Юра, муж моей сестры, с ужасным сообщением — состояние папы крайне тяжелое. Ночью у него был тяжелый сердечный приступ, вызывали скорую помощь, он госпитализирован в кардиологическую клинику 1-го

мединститута.

Машина скорой помощи была реанимационной — большая редкость для Москвы тех лет. В этот день были выборы в местные советы, а значит, и населению перепадали кое-какие блага, в другие дни недоступные. Так что лечение началось уже в машине. Отца отправляли в больницу мама и моя сестра Аталия, жившая с семьей недалеко от родителей. Напоследок отец еще раз повторил то, что мы уже неоднократно слышали от него прежде:

— Дети, кремируйте меня, поезжайте в Израиль и похороните меня там…

В клинике я поняла, что положение безнадежное. Отец был без сознания, окружен аппаратами, трубками. Врачи не отходили от него всю ночь. Моей сестре удалось дважды пробраться к нему (ведь в России в реанимационную палату входить не разрешалось). Один раз он открыл глаза, улыбнулся и сказал:

— Ничего, Асенька, это хорошая клиника, меня вылечат.

Как всегда, даже в самую тяжелую для него минуту, он не жаловался, пытался подбодрить тех, кто страдал за него, возле него. Я приехала позже, меня встретил доктор Меир Гельфонд, теперь уже известный врач, с которым отец отбывал вместе лагерный срок в Воркуте и о котором я уже рассказывала выше. Он зашел в палату и вскоре вышел оттуда, безнадежно покачивая головой. Казалось, рушится мир. К Меиру подошел, как мне стало известно позже, крупнейший профессор-терапевт, тоже еврей, чье имя я, к сожалению, забыла. Но мне навсегда запомнились слова, сказанные ему Меиром: «Умирает последний Великий еврей Советского Союза».

Кремация происходила на территории Донского монастыря. Для меня было неожиданным увидеть, помимо родственников и близких друзей, пришедших проводить папу в последний путь, множество «посторонних», людей солидного итээровского вида, в длинных драповых пальто и фетровых шляпах по моде того времени. В зале крематория у стены стояло много венков с траурными лентами от различных учреждений.

Отец никогда не рассказывал нам, какой любовью и уважением пользовался он в своем институте, сколь высоко его ценили как специалиста. Об этом мы узнали лишь тогда, слушая траурные речи, в которых прозвучали торжественные и высокие слова о Григории Израилевиче Прейгерзоне. Мы получили сотни телеграмм из различных мест страны — с отцом прощались люди, работавшие в шахтах и на рудниках, на углеобогатительных фабриках и в лабораториях Донбасса, Воркуты, Караганды; то были многочисленные ученики отца — три поколения инженеров, выросших на его учебниках.

Официальных речей было так много, что сотрудники крематория стали нас торопить. Времени для друзей отца просто не оставалось. Только один наш близкий родственник, прекрасный человек, архитектор, сумел сказать: «Гриша, ты обогащал не только уголь, ты обогащал наши души!»

После того, как закрыли черный проем и отзвучала музыка Шопена, люди направились к выходу. И тут произошло нечто такое, что стало для меня неожиданностью. Кто-то из папиных друзей — Исраэль Минц?.. Меир Гельфонд?.. Иосиф Керлер?.. — вдруг воскликнул: «Берите венки!» и уверенно двинулся в сторону, противоположную выходу. И мы все, родственники и друзья, подчиняясь необъяснимому порыву, подхватили венки и быстро последовали за ним. А уже за нами двинулись и все остальные

Мы вышли на кладбище крематория и продолжили свой путь зигзагами между могил. Ноги скользили в тающем мартовском снегу. Через несколько минут идущие впереди остановились возле бюста, установленного на одном из надгробий. Это была могила Соломона Михоэлса. С изумлением прочитав надпись, вся инженерно-техническая часть процессии, как по команде, повернула обратно. А мы, группа родных и друзей, сгрудились возле памятника работы скульптора Гавриила Гликмана, установленного через одиннадцать лет после убийства Михоэлса.

Так необычно закончились папины похороны в Москве: министерские венки, предназначенные Прейгерзону — писателю, инженеру и ученому, — остались у могилы Михоэлса, где еврейская душа отца, казалось, обрела заслуженный покой.

Все в природе уравновешено. И то прекрасное, что мы получили от отца при жизни, после его смерти отозвалось горем, не проходящей до сего времени болью. Мы, врачи, не уберегли его от болезни сердца. Он скончался, не завершив свой последний роман, в расцвете творческих сил. Он так и не вернулся в Эрец-Исраэль, страну своей мечты. Отчего судьба не предоставила такую возможность именно ему, влюбленному в иврит и творившему на этом языке?

Пока был жив отец, мы как-то забывали о повседневности, и вот его не стало…

При жизни отца наша связь с еврейством осуществлялась в кругу семьи, но никто никогда ничего нам не навязывал и ни в чем не убеждал. Тем не менее, отец сформировал еврейскую атмосферу в семье, и ряд событий не мог не повлиять на наше мировоззрение. Одним из наиболее ярких событий для меня лично было участие, с согласия отца, в молодежной делегации к Илье Эренбургу — об этом я уже писала.

Затем мы начали учить иврит. Задолго до этого, еще в 1964 году, отец приобрел и преподнес каждому из своих детей знаменитый иврит-русский словарь Шапиро, ставший впоследствии неоценимым пособием при изучении языка. Я дважды была с отцом на московских концертах Нехамы Лифшиц — еврейская атмосфера их была зажигательной, в ее исполнении было нечто свободное, высвобождавшее из советского плена. А в 1965 году, у своей двоюродной сестры Малки, отец познакомил нас с мужем со своим двоюродным братом Иосефом Авидаром, бывшим послом Израиля в Советском Союзе, посетившим Москву на пути в Японию.

Когда отец умер, то казалось, что мы отойдем от еврейства, ведь с миром наших предков связывал нас он один. Но еврейские корни глубоки, да и время изменилось. Как-то само собой вышло так, что мы стали читать фельетоны Зеева Жаботинского, «Исход» Леона Юриса, стихотворения Семена Фруга. Нашими друзьями стали люди, учившие иврит, подавшие или собирающиеся подать в ОВИР документы на выезд в Израиль. Стало обычным приезжать в синагогу на улице Архипова в еврейские праздники. А участившиеся проводы в Израиль друзей и знакомых создавали особое, предотъездное настроение.

Время летело быстро. Просьба отца похоронить его в Израиле была священной для нас, его детей. Но как ее осуществить? По истечении года необходимо было забрать урну из крематория. И тут до меня дошел слух, что согласно установленному при Хрущеве порядку, прах умершего в России иностранца может быть на основании его завещания доставлен на родину.

В нашем случае завещание было устное, да и отец не был иностранцем, а любое упоминание об Израиле в то время вызывало у властей самое неприязненное отношение. Мы пребывали в нерешительности. Помог выйти из положения Виктор Фрейлих, брат моего мужа, диссидентствующий молодой человек, которому море было по колено.

— Давай сначала отправимся на главпочтамт, — предложил он. — Может, там что-нибудь выясним

Как сейчас помню, мы с ним поехали на Комсомольскую площадь, зашли в кабинет начальника главпочтамта, и я с трепетом пересказала обстоятельства дела. И получила неожиданно спокойный деловой ответ, не окрашенный, как мы привыкли, негативными эмоциями. Да, известил он нас, мы можем послать урну за границу, но при этом необходимо предъявить следующие документы:

1) свидетельство о смерти с указанием, что умерший не страдал опасными инфекционными заболеваниями;

2) справку о том, что в урне нет посторонних вложений. И урна должна быть послана в течение суток после ее получения из крематория.

Я спросила, о какой инфекции может идти речь, если отец умер от инфаркта и был кремирован

— Так положено! — коротко ответил он, и мы, боясь, как бы начальник не передумал, быстро вышли из кабинета.

«А как же завещание?» — только тогда вспомнила я. Нет, начальник ничего не сказал об этом — возможно, забыл.

Я стала в спешке добывать необходимые бумаги. Приехала в морг со свидетельством о смерти отца и стала просить приписать необходимое заключение. На меня смотрели как на полоумную:

— Пусть такое заключение вам напишет лечащий врач.

В клинике, где умер отец, отреагировали столь же удивленно:

— Но зачем, ведь все и так ясно!

К счастью, врач оказался человеком покладистым, да и время не хотел тратить на разговоры. Итак, один документ имелся, теперь была очередь за вторым.

Я отправилась в крематорий. В отдельном здании около конторы в подвальном помещении был отдел выдачи урн. Сотрудница поговорила со мной сочувственно и тепло. По-видимому, добрый характер и сама ее должность располагали к доверительным разговорам. Мы договорились, что я получу урну в годовщину кремации отца.

И вот настал этот день. Я привезла необходимое заявление. Сотрудница вынесла небольшую круглую урну, закрытую крышкой.

— Хотите посмотреть на прах?

Сердце мое затрепетало:

— Да!

Я ожидала увидеть в буквальном смысле прах — пепел, но в урне не было ничего подобного. Там лежали кусочки белых, ослепительно белых косточек, длиной примерно 3–5 см. Я дотронулась до одной из них, и слезы застлали мне глаза.

Крышку залили сургучом. Получив нужную справку, я поехала на Погодинскую улицу, к сестре Аталии. Это была квартира отца, здесь он жил с 1930 года до дня смерти (за вычетом лет эвакуации и лагеря). Так что состоялось, если угодно, прощание папы с семейным домом. Муж сестры Юра сколотил из дощечек ящичек для пересылки

На следующий день на главпочтамте собралась вся семья — мама, Аталия с мужем, наш брат Вениамин и я. Встали в очередь к окошку, через полчаса дело дошло и до нас. Говорю о содержании посылки, о месте назначения, отдаю необходимые

справки. Сотрудница пошла за подтверждением к начальнику. Мы все замерли с тревогой: неужели сорвется?

Разрешил, отлегло.

В присутствии сотрудницы мы запаковали урну в ящик, плотно заложив ватой пустое пространство, забили крышку. Сестра, любившая все доводить до совершенства, спросила:

— А нельзя ли застраховать посылку, она для нас очень ценная.

— Ишь чего захотели! — неожиданно зло огрызнулась приемщица и грубо отбросила ящичек в сторону. Такими были проводы Цви Прейгерзона из страны, в которой он родился и провел всю свою жизнь, на которую трудился, чьих студентов учил, в чьих лагерях без вины сидел…

Адресатом посылки был мамин брат Гриша Зейгерман, проживавший в Тель-Авиве. Да-да, тот самый, который попал в Израиль по маминому сертификату в 1925 году — в год, когда мама вышла замуж за Гришу Прейгерзона и уехала в Москву. Его девятнадцатилетний сын Нахум, мой двоюродный брат, погиб в 1948 году в Войне за независимость, спустя два дня после провозглашения Государства Израиль.

В захоронении урны принимали участие русский отдел МИДа («Натив»), во главе которого в то время стоял Шауль Авигур, и Союз писателей. На выбор места повлияли известные обстоятельства, связанные с религиозными ограничениями при таком захоронении. На просьбу о захоронении праха ивритского писателя из Советского Союза с готовностью откликнулось кибуцное управление.

На выбор были предложены два кибуцных кладбища — Кинерет и Шфаим. Особым почетом пользовалось первое, где похоронены прославленные лидеры сионистского движения, писатели, поэты. Здесь находится, в частности, могила поэтессы Рахели, сюда молодежь приходит читать ее стихи. На этом кладбище перезахоронен прах известных деятелей сионистского движения, умерших за границей: Нахума Сыркина, Дова Борухова, Моше Гесса.

Однако выбор пал на кладбище кибуца Шфаим — учли желание Гриши (Цви) Зейгермана, жившего в Тель-Авиве, не столь далеко от этого кибуца. Шфаим расположен на прибрежной равнине в нескольких километрах к северу от Герцлии. Он был основан в 1935 году выходцами из России, Польши и Латвии. В 1970-м там еще многие говорили по-русски. Даже через десять лет, когда после приезда мне довелось говорить с членами правления кибуца, я обходилась русским языком, еще толком не зная иврита. Секретарем кибуца и одним из его организаторов

был замечательный человек — Бени Каценельсон, племянник знаменитого Берла Каценельсона.

Траурная процессия друзей и почитателей Ц. Прейгерзона. 1970 г.

Перезахоронение праха состоялось 22 июня 1970 года, о чем сообщалось в израильских газетах. Были поданы автобусы к одной из центральных площадей Тель-Авива (около «Гейхал ха-Тарбут») для доставки желающих в Шфаим. К сожалению, никто из семьи Прейгерзона еще не добрался до Израиля и не смог присутствовать на церемонии.

Проводы Цви Прейгерзона начались с торжественного заседания в кибуцном зале собраний. Горели поминальные свечи. В центре зала на возвышении стояла урна, накрытая полотнищем с изображенными на нем национальными символами. На скамьях трудно было найти место — так много народу пришло проститься с Цви Прейгерзоном. Здесь были сотрудники «Натива», писатели Авраам Карив, Хаим Берл, Ямима Чернович. Конечно, пришел и Иосеф Авидар, а также бывшие солагерники и друзья отца — Иехезкель Пуляревич, Мордехай Шенкар, Иосиф Хорол и многие другие. Присутствовали даже его товарищи по гимназии «Герцлия» и, разумеется, Бени Каценельсон и другие члены кибуца. Проводы вылились в торжественное заседание, посвященное возвращению на родину последнего ивритского писателя, жившего в России, сохранившего и обновлявшего иврит, всю жизнь мечтавшего о приезде в свою страну.

Иосеф Авидар потом рассказывал:

> В речи на его могиле я умолчал о том, что Цви Прейгерзон — это и есть тот самый Цфони, произведения которого в то время были так популярны в Израиле. Ведь у семьи в Москве все еще оставались его рукописи, и мы опасались, что раскрытие псевдонима может привести к обыскам сотрудниками КГБ. Увы,

писатель и после смерти все еще продолжал пребывать в своем подполье.

Сказаны последние слова, прах опущен в землю Израиля. Так упокоилась душа Цви Прейгерзона, выполнена его последняя воля.

Потом еще много лет экскурсоводы приводили туристов к этой могиле, и история Прейгерзона раз за разом рассказывалась на торжественных церемониях, посвященных алие из Советского Союза.

Впервые я посетила могилу отца в ноябре 1978 года, сразу же по приезде в Израиль. Кладбище кибуца Шфаим поразило меня: цветущий уголок страны, вечнозеленые растения, цветы, до самого моря — открытое пространство зеленой равнины, покой, прохлада и скромный памятник в тени больших деревьев.

Надпись гласит: «Здесь похоронен Цви Прейгерзон, ивритский писатель, ученый, сын своего народа».

Жена и дети у могилы Цви в кибуце Шфаим. 1981 г.

В 1986 году здесь же похоронили жену писателя Лею, верную спутницу его дней, помощницу в самых сокровенных делах. А не так давно, в 2012 году, прибавилось рядом и надгробье его любимого сына Вениамина.

Мечтая жить в Израиле, отец был убежден, что имеет на это право только в том случае, если кто-либо из детей поедет с ним. «Старики там не нужны, — говорил он. — Наш приезд будет оправдан, коль скоро мы с мамой привезем с собой хотя бы одного молодого работающего человека, который может принести пользу Израилю».

Мой брат Вениамин первым из нас откликнулся на это

желание отца. Мама с братом уехали через два с половиной года после смерти отца, в конце 1971-го.

Переправка архива в Израиль

А сейчас я хотела бы рассказать об истории архива писателя, о пересылке его рукописей в Израиль.

Хранительница архива Цви Прейгерзона в Тель-Авивском университете профессор Хагит Гальперин, автор ряда статей о писателе, говоря о ценности его архива, писала:

> Он знал, что его поколению в Советском Союзе его произведения недоступны. Поэтому в них он обращается к израильскому читателю, который, может быть, через много лет прочтет их и сможет понять тот мир, в котором он жил и творил… Читая Прейгерзона, я, родившаяся в Израиле, понимала, что являюсь одной их тех, к кому он обращается и которой предназначалась его улыбка. Ибо он сознавал, что все, созданное им, получит отклик в сердцах его будущих читателей. Он улыбается мне и другим израильским читателям и радуется тому, что созданное им не было напрасно, не ушло в небытие…
>
> *(Перевод с иврита Вениамина Прейгерзона)*

Архив писателя в Советском Союзе всегда находился под прицелом КГБ, а тексты, написанные на запрещенном языке, подлежали полному изъятию. Борьба за сохранение, а затем и переправку рукописей в Израиль требовала много усилий как автора, так и всех членов его семьи. Мы все, его родные, не знавшие иврита, не способные прочитать ни строчки из его произведений, были убеждены, что все, созданное отцом, имеет огромную ценность, и что каждая страница его архива должна быть переправлена в Израиль для публикации. Это стало для нас непреходящей задачей.

Я уже описывала, как нашей маме удалось спасти и сохранить архив во время ареста отца и пребывания его в лагерях. Чтобы оградить нас от преследований КГБ, папа тщательно скрывал свою ночную деятельность от нас, детей. Впервые я узнала, что он пишет на незнакомом мне языке, во время войны, в Караганде, где мы жили в эвакуации. В большом томе «Капитала» Маркса, который я случайно сияла с книжной полки, между строчками был вписан мелким отцовским почерком какой-то текст — как я тогда уже поняла, на иврите.

После войны, в Москве, я снова нечаянно подсмотрела, как

папа пишет на иврите, когда поздно вечером, не постучав, зашла в его комнату. Он быстро закрыл тетрадь, я же сделала вид, что ничего не заметила. Но мне стало ясно, что отец явно что-то скрывает — ведь ничего подобного не происходило, когда он писал свои научные книги.

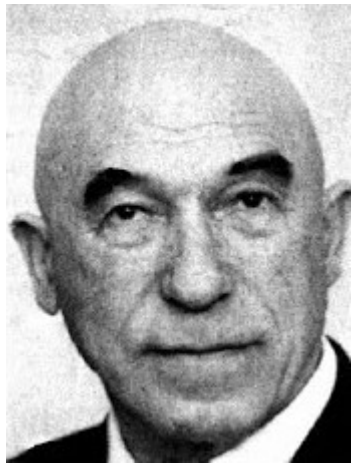
В последние годы папа писал, но так и не успел закончить рассказ о «приключениях черного чемодана» — то есть о странствиях архива во время лагерной эпопеи автора. После лагеря основной папин архив хранился в чемодане на антресолях в квартире на Погодинской, где жил отец. Материалы для текущей работы лежали в ящиках его письменного стола.

Их-то мы и не нашли, когда стали разбирать содержимое стола вскоре после папиной смерти. Страницы нескольких неоконченных работ и все материалы к ним исчезли. Куда — так и осталось неизвестным. Мама, трепетно относившаяся к каждой папиной строчке, просто не могла ничего уничтожить. По-видимому, в первые дни скорби, когда мама не обращала внимания на происходящее вокруг, кто-то из знакомых помогал убирать в квартире и выбросил эти листочки как ненужные. Ведь подавляющее большинство людей и понятия не имели, что Цви Прейгерзон был ивритским писателем. Другого объяснения у нас нет. Потеря эта стала для нас настоящим ударом.

Чемодан с рукописями оставался еще некоторое время в квартире у мамы, затем его забрал к себе брат Вениамин. Перед отъездом в Израиль он переснял и взял с собой только отдельные материалы, а остальной архив передал мне. На протяжении семи лет, пока не репатриировалась я сама, он хранился в моей московской квартире на улице Лавочкина.

Получив архив, я поняла, что отныне несу личную ответственность за пересылку папиных рукописей в Израиль. Со временем эта задача приобрела особое значение в моей жизни, оттеснив на второй план научную работу, хотя моя профессиональная карьера складывалась довольно успешно (я была старшим научным сотрудником в лаборатории высшей нервной деятельности Института гигиены детей и подростков). Осознание того, что именно я отвечаю за сохранность наследия отца, стало одним из главных стимулов моего отъезда в Израиль.

При этом я совсем не знала иврита — даже алфавита. Что делать с целым ворохом документов на непонятном языке? Довериться кому-либо я боялась. Но, как это часто бывает, помог случай: в нашей районной поликлинике я встретила Израиля Борисовича Минца, хорошо знавшего отца. Не раз в доме родителей я слышала, как они с папой разговаривают на иврите.



Исраэль Минц

Минц отбывал заключение в советских лагерях в тот же период, что и отец, но познакомились они уже на свободе. У них были общие знакомые, бывшие лагерники. Оказалось, что Минц жил в нашем районе, на Ленинградском шоссе, неподалеку от метро «Речной вокзал». Это был высокий, подтянутый, энергичный пожилой человек.

Он рассказал мне о некоторых обстоятельствах своей жизни. Оказывается, в 20-х годах он жил в Палестине, был деятелем Гистадрута. После кровавого хевронского погрома 1929 года он уехал во Францию, откуда через два года вернулся в Россию. Будучи по образованию инженером-метростроевцем, Минц начал работать в Москве на строительстве метрополитена — в начале 30-х эта работа была в самом разгаре.

Тогда же он женился на девушке, семья которой только что добилась разрешения на отъезд в Землю Обетованную. Минц должен был уехать вместе с ними, но его уговорили остаться до окончания строительства первой ветки московского метро. Беременная жена уехала с родителями, а Израиль Борисович вскоре был арестован. Он долго сидел в лагерях, а потом жил на российском Севере.

Я пригласила Минца к нам в начале 1972 года. Он начал просматривать рукописи и ахнул: «Так ваш отец был ивритским писателем!» В чемодане лежал экземпляр книги «Вечный огонь». Оказывается, Минц даже не подозревал об этой стороне папиной жизни.

Забрав рукопись рассказа «Иврит», он через несколько дней пришел к нам прочитать выполненный им перевод этого сочинения на русский язык. Помнится, я собрала у себя по этому поводу всю семью.

Как уже говорилось, в Израиле этот рассказ удостоился

высокой оценки. Узнав о существовании русского перевода, мой учитель иврита Иосиф Бегун стал упрашивать меня, чтобы я позволила распространить версию Минца в самиздате. Но в нашей семье существовал уговор: пока рукописи отца находятся в Москве, мы, в целях безопасности, должны воздерживаться от участия в каких-либо действиях, вызывающих недовольство власти. Вот почему в Советском Союзе, в России, никто не слышал о писателе Цви Прейгерзоне вплоть до 90-х годов, когда в печати стали наконец появляться переводы его рассказов.

Помимо двух устных уроков иврита, которые успел дать мне отец, со мной провел несколько занятий и Израиль Борисович Минц. Мы занимались по учебнику «*Элеф милим*» («Тысяча слов»). Наконец-то я хоть чуть-чуть познакомилась с таинственным языком, на котором говорили мои предки и писал мой отец.

Затем Минц взял для перевода «Дневник воспоминаний (1949 — 1955)», написанный в 1957 — 1958 годах и повествующий о лагерном периоде жизни отца. Эта тема была близка Минцу, некоторых из упомянутых там заключенных он хорошо знал. Работал Израиль Борисович весьма энергично, обнаружив при этом неплохие способности переводчика, и вскоре весь «Дневник» был переведен.

Разумеется, прежде всего я спросила Минца, насколько реальна, по его мнению, возможность пересылки архива в Израиль. Он сказал, что попытается мне помочь. Через некоторое время Минц познакомил меня с Михаилом Членовым, жившем неподалеку, сказав, что я могу полностью ему доверять. И действительно, Мика (как его называют близкие люди) в последующие годы оказал мне неоценимую помощь в переправке через границу материалов из архива отца

Израиль Борисович Минц уехал в Израиль летом 1973 года. Меня, к сожалению, не было в это время в Москве — мы проводили летний отпуск в Прибалтике. То, что Членов — выдающаяся личность, я поняла со временем. В начале же нашего знакомства передо мной предстал молодой человек, наделенный отменным чувством юмора, державшийся с достоинством и простотой. Он все делал обстоятельно, по-деловому, с неизменной доброжелательностью. Несмотря на то, что, кроме лестной рекомендации Израиля Борисовича, мне о нем ничего не было известно, я ни на секунду не усомнилась в его надежности. Во всем, что делал и говорил Мика, чувствовалось желание помочь людям в их стремлении оказаться в Израиле. Отказники вели в те годы активную борьбу за право свободной репатриации.

Я стала наведываться к Мике и передавать ему небольшие пакеты со свернутыми в трубку страницами «Дневника» в

переводе Минца на русский язык. В материалах на иврите я к тому времени еще не разобралась. Как же ему удавалось переправлять рукописи за границу? Будучи научным сотрудником академического института, Мика договаривался с аспирантами-иностранцами: те время от времени имели возможность пересылать с диппочтой небольшие посылки, не подлежащие досмотру. А уже оттуда, из другой страны, посылка отправлялась в Иерусалим — на имя Йосефа Авидара, который, в свою очередь, передавал ее моему брату Вениамину. Таким многоступенчатым образом было отправлено несколько посылок, и все они в целости и сохранности достигли Израиля.

Минц отпечатал перевод «Дневника» в двух экземплярах, из коих один остался у меня. Его смогли прочитать в Москве многие из тех, с кем папа отбывал заключение. Читали с большим интересом, некоторые специально приезжали из других городов. Сильное впечатление этот дневник произвел и в Израиле — здесь уже было достаточно репатриантов из Советского Союза, включая папиных друзей и знакомых по лагерям.

Тем временем я начала посещать уроки иврита, которые вел тогда Иосиф Бегун. Основное пособие — всё та же книга *«Элеф милим»*. В группе было несколько человек, обсуждались, разумеется, вопросы, связанные с отъездом в Израиль. Второй курс иврита, уже профессиональный, я прошла с Микой Членовым в 1976 году. Группа занималась у меня. Приходила и десятилетняя дочь Членова, и мои, уже взрослые, дети. Остальные — человек десять — были «в подаче», ждали разрешения на выезд. В конце курса Членов провел «экзамен». По результатам он дал значки об окончании ульпана *«алеф»* (начального) только трем ученикам: его дочери, моему сыну, действительно «схватившим» иврит, и… мне. «А мне за что»? — спросила я его. «За то, что вы так хорошо поили нас чаем…»

На исходе 1974 года я нашла того, кого так долго искала. В доме Сусанны Мильштейн, моей близкой приятельницы, я познакомилась с ее дядей, Ушером Ионовичем Франкфуртом, блестяще образованным пожилым человеком, физиком, который с детства прекрасно знал иврит.

Уже при первом знакомстве стало ясно, что иврит, сионизм, Израиль — это то, что по-настоящему волнует этого человека. К работе с архивом Прейгерзона он приступил не только с готовностью, но и с большим рвением.

Ушер Ионович Франкфурт (1908 — 1982) родился в семье известного раввина из Проскурова. Еще мальчиком он усердно читал ТАНАХ, получил хорошее религиозное образование. Уже в возрасте девяти лет, в канун революции, его приглашали

участвовать в беседах ученых религиозных евреев. Короче говоря, судьба мальчика была предрешена: он намеревался стать раввином. Но революция все изменила. Франкфурт ушел в науку, стал учеником Я.И. Френкеля и читал в университете курс теоретической физики. Перед войной он, как крупный ученый, был освобожден от армейской службы.

В конце 40-х — начале 50-х, предчувствуя угрозу ареста, Ушер Ионович уехал на восток страны и преподавал там физику в различных университетах. Эта нередкая в ту пору практика спасла его от больших неприятностей. С начала 60-х Франкфурт жил в Москве, посвятив себя исследованиям в области истории науки. Он написал ряд монографий, посвященных великим ученым, физикам разных эпох: Эйнштейну, Гюйгенсу, Паскалю, Лоренцу, Бору, Планку, был составителем эйнштейновских сборников.

Со временем Ушер Ионович стал другом нашей семьи, мы вместе отмечали еврейские праздники. Мудрый и доброжелательный, он оказал мне и моим близким большую моральную поддержку, помогая в решении сложных вопросов, связанных с отъездом в Израиль. После очередного ареста Иосифа Бегуна Франкфурт точно предсказал его дальнейшую судьбу и дал надежные, взвешенные советы относительно того, как нам, ученикам Бегуна, вести себя на его судебном процессе.

К разбору архива мы приступили при первой же встрече. Франкфурт просматривал рукописи (отец писал в больших общих тетрадях), я их нумеровала. Работая день за днем, мы составили полный список произведений отца, находящихся в его архиве, с переводом названий на русский язык. Были там законченные, готовые к печати произведения, в том числе новая редакция послевоенных рассказов, первая часть романа «Врачи» и его продолжение, лагерный «Дневник», а также личный дневник, который отец вел с 1957 года. Была сделана опись и многочисленных подготовительных материалов — интервью, выписок, писем, незавершенных рассказов и т. д.

Обращала на себя внимание та тщательность, с которой отец работал над языком, — в архиве был ряд тетрадок, куда папа выписывал новые ивритские слова, классифицируя их по темам: цветы, технические термины и многое другое. Нашли мы и тетрадку стихотворений отца — пожелтевшую, с трудно различимыми строчками. По-видимому, папа начал писать в ней еще в 1922 году. В Израиле пришлось очень постараться, чтобы прочесть эти полустертые записи.

Одновременно Ушер Ионович устно, с листа, переводил мне роман «Вечный огонь», а я записывала. Эта работа так и не была

закончена к моему отъезду, рукопись осталась в Москве. Но я хотя бы смогла познакомиться с содержанием романа задолго до его перевода на русский язык в Израиле.

Ушер Ионович прочитал нам несколько лекций по еврейской истории. Слушать его приходило много знакомых и не знакомых мне людей. Помню его рассказы о Баал-Шем-Тове и о лже-мессии. Это были очень необычные лекции, яркие, впечатляющие. Когда Франкфурт говорил, казалось, что он сам происходит из той эпохи, сам был свидетелем и очевидцем событий.

На разбор папиного архива у меня ушло не менее года, после чего основной задачей стала пересылка рукописей в Израиль. Прежде всего я решила сделать фотокопии — дело в то время в Советском Союзе отнюдь не простое, чреватое крупными неприятностями. Я была знакома с одним фотографом, сотрудником моего института, в котором я работала десять лет тому назад. Он помогал мне в оформлении диссертации — молодой человек лет 30-35-ти, мастер своего дела, назову его здесь Саша.

Проблема заключалась в том, что со времени нашего знакомства прошло уже достаточно много лет. Кроме того, я уже не работала в том институте, и просьба сделать фотокопии с текста на незнакомом языке могла вызвать подозрение. Тем не менее, я решила рискнуть: сказала, что у моих знакомых умер родственник — ученый, остались его рукописи на персидском языке. Не может ли Саша сделать фотокопии с этих текстов — ему готовы хорошо заплатить.

При этом я предупредила его, что работу он должен выполнять в моем присутствии, поскольку рукописи очень ценные, и я не могу оставлять их в фотолаборатории. Фотограф согласился. Первая фотокопия была сделана с «Дневника».

Во время работы я не отходила от Саши, следя за тем, чтобы ни одна страница не была пропущена. Особой моей заботой было не оставить никаких следов. Пока мастер проявлял пленку, я при слабом свете красного фонаря ползала по полу, собирая забракованные отрезки ленты. Завершив работу, Саша свернул влажные пленки в рулоны, разложил по пакетам и передал мне, попросив как можно скорее развесить их для просушки.

Но я не хотела, чтобы кто-либо знал об этих моих делах — даже муж. Поэтому прямо из лаборатории я отправилась в квартиру на Погодинской, где проживала в то время моя сестра Аталия с семьей. Там мы развесили пленку на бельевых веревках в ванной. А уже на следующий день, собрав сухие пленки, я надписала на конверте иерусалимский адрес Йосефа Авидара и побежала к Мике.

Прошли два месяца напряженного ожидания, и вот брат Вениамин, в телефонном разговоре из Израиля, подтвердил прибытие посылки. Такая удача! Путь проложен! Точно таким же образом я пересняла и переправила в Иерусалим фотокопии и всех других неопубликованных произведений отца.

Кстати, история с фотографом закончилась небольшим конфузом. В 1978 году, уже получив разрешение на выезд в Израиль, я решила переправить туда свою новую научную статью, к тому времени еще не напечатанную: в Союзе опубликовать ее было уже невозможно. Я попросила Сашу сделать фотокопию и с нее, надеясь переправить статью через Мику. Когда я приехала забрать работу, Саша с гордостью вручил мне бумажную копию, невиданную редкость в ту пору.

Оказывается, ему удалось ночью проникнуть в одну из редакций, где стоял копировальный аппарат. Фотограф был уверен, что превзошел все мои ожидания: ведь бумажная копия намного удобнее фотопленки! С трудом скрыв разочарование, я поблагодарила Сашу за услугу, которая действительно оказалась медвежьей: в Шереметьево статью не пропустили, и мне пришлось выбросить ее в урну.

Узнав о прибытии в Израиль последней посылки, я вздохнула с облегчением. Все написанное за эти годы отцом, все то, за что он провел так много лет в советских тюрьмах и лагерях, все то, что могло серьезно осложнить судьбу его близких и, вследствие этого, было предметом постоянных волнений, — все это отныне находилось в Израиле. Спасибо Ушеру Ионовичу Франкфурту, спасибо Михаилу Членову — без них ничего бы этого не произошло! Да и мои труды не пропали даром…

Осенью 1978 года мы со дня на день ждали разрешения на выезд. Но оставался вопрос: что делать с оригиналами рукописей отца? Оставить архив было решительно некому: сестра Аталия уехала больше года тому назад, моя семья уезжала последней. И вот в одну из суббот я пришла к синагоге на улице Архипова.

Как всегда, там было много народу — отъезжающие, думающие об отъезде, знакомые отказники… Наверняка и стукачи тут как тут. Неужели не найдется выхода? Кто-то из знакомых указал мне на отказника, профессора-математика, о котором говорили, будто у него есть возможность переправлять рукописи за рубеж. Подошла, представилась, объяснила.

Профессор пожал плечами и ответил, что не располагает такими возможностями. Его можно было понять: человек не знал ни меня, ни имени моего отца. Профессор предложил мне попробовать обратиться к другому отказнику, бывшему инженеру, а ныне лифтеру, Володе Престину, но и тот сказал, что сейчас у

него нет такой возможности.

А между тем разрешение было получено, часы отсчитывали последние дни до отъезда. Еще один призрачный шанс заключался в том, чтобы попытаться передать рукописи в посольстве при оформлении документов. Израиль, ввиду отсутствия дипломатических отношений, представляло в Москве голландское посольство.

Помню дождливый осенний день, в одном из переулков в районе Арбата большая очередь около голландского посольства. Впускали группами по несколько человек. Трудно передать то состояние тревоги, в котором я тогда находилась. Осматриваюсь по сторонам: у женщин маленькие сумочки, у мужчин — ничего. А у меня в руках огромный портфель из тех, в каких интеллигентные мужчины приносили в те времена из магазина молоко и кефир в пузатых бутылках.

Портфель набит тетрадями с рукописями отца — оригиналами его произведений. Вдруг кому-то вздумается проверить его содержимое? Ведь до входа нужно преодолеть несколько метров по узкому проходу меж двух рядов милиционеров. Нервы мои были натянуты до предела. Дверь посольства открывается — настала очередь очередной группы, и я в ней. Не помню, как я оказалась в помещении посольства Пронесло, пронесло!

Сразу после оформления документов я говорю сотруднице, что мне необходимо увидеть консула.

— Что ему передать?

— Нет-нет, я должна увидеть его лично… — стараюсь говорить уверенно, отступать некуда.

Смерив меня взглядом, сотрудница зашла в одну из комнат, а затем пригласила меня туда и оставила наедине с солидным господином. Он встал, взглянул на меня и на хорошем русском языке поинтересовался, по какому поводу я обращаюсь к нему.

— Вам нужны деньги на отъезд?

— Нет, — ответила я.

— Тогда что же? — удивился он.

И тут я выпалила ему на одном дыхании все. Об отце, который был крупным инженером, ученым и ивритским писателем. О том, что он много лет провел в сталинских лагерях. О том, что здесь невозможно напечатать ни строчки на его языке. И, конечно, о том, что, уезжая, я не могу допустить, чтобы его труд пропал.

С этими словами я извлекла из портфеля большую пачку толстых тетрадей, исписанных мелким отцовским почерком. Консул взял ее, просмотрел. Мне показалось, что ему передалось

мое душевное состояние…

— Да, это важно для Израиля, — сказал он и положил тетради в ящик стола. — Получите их в Израиле.

Я вышла окрыленная, не веря своей удаче.

Разумеется, там был не весь архив Прейгерзона — только самое важное. Уезжая, я доверила чемодан с оставшимися еще рукописями своему сыну Александру (здесь — Алекс Лахав), который приехал в Израиль полгода спустя. Я сказала ему:

— Эти бумаги, по-видимому, пропадут. Но если сумеешь, попробуй переслать в Израиль дедушкин архив. Кроме тебя, сделать это некому.

И вот — новое чудо: следуя тем же маршрутом, сын передал через голландское посольство еще одну часть архива, а остальные бумаги отправил по почте в Израиль на мое имя в двух больших посылках, обернутых плотной серой бумагой Несомненно, он шел на большой риск, но кто-то из чиновников, вероятно, недосмотрел. А может, просто никто не ожидал такой «наглости».

Через много лет, когда произведения отца уже были напечатаны в Израиле, а память обо всех табу тех лет почти что изгладилась, я поинтересовалась, кто был в то время в Москве консулом голландского посольства, и узнала его имя — господин Хайнеман. Была ли то его собственная добрая воля или он получил соответствующие рекомендации из Израиля — в любом случае я безмерно благодарна этому человеку.

Другой связанный с Голландией эпизод произошел с моей дочерью Леной. Врач по профессии, она несколько лет назад лечила в Иерусалиме одного пожилого пациента. Они разговорились, и Лена сказала ему, что ее дед — ивритский писатель Цви Прейгерзон. Старик всплеснул руками:

— Помню, помню! Я прочитал его произведения в Голландии, когда работал там в конце семидесятых!

Он просил не называть его имя. Теперь стало ясно, какой путь прошли рукописи, переданные через посольство…

Вот так, стараниями многих людей было спасено и доставлено в Израиль литературное наследие моего отца. Ну, не Провидение ли это Божье?

Судьба творческого наследия писателя

Решение о передаче рукописей Прейгерзона в Институт имени Каца по исследованию литературы на иврите при Тель-Авивском университете было принято Шаулем Авигуром в последние годы его жизни. До этого часть рукописей хранилась в писательском архиве «Гнозим», но затем и они были переданы в университет.

По мере поступления произведений Прейгерзона из Москвы в Израиль они выходили здесь в самых крупных издательствах Тель-Авива.

Начиная с 70-х годов, первой изданной в Израиле книгой Цви Прейгерзона стал *«Йоман зихронот»* («Дневник воспоминаний»), вышедший в издательстве «Ам Овед» в 1976 году. Это было первое после очень длительного перерыва издание Цви Прейгерзона, где стояло его настоящее имя наряду с псевдонимом: Цви Прейгерзон (А. Цфони).

Книга была издана по инициативе *«Лишкат ха-кешер»* («Бюро по связям»). Большую организационную работу для ее издания проделал мой брат Вениамин. По его решению в книге было указано наряду с известным здесь именем А. Цфони и настоящее имя автора.

Брат принял это решение, когда рукопись произведения еще находилась в Москве. В этом был, конечно, определенный риск, но уж очень хотелось сыну извлечь имя отца из подполья. К

счастью, Москва никак не отреагировала на появление этой книги на иврите: у КГБ в то время было достаточно других забот, связанных с движением евреев за свободу выезда в Израиль.

«Дневник» издавался по фотокопиям, отснятым братом перед отъездом, но качество пленки оставляло желать лучшего. К счастью, как раз в это время в Израиль прибыла посылка с фотокопиями «Дневника», сделанными упомянутым ранее фотографом Сашей и пересланная мною через Мику Членова. Она уже вполне удовлетворила издателей.

В архиве рукописи Прейгерзона попали в надежные руки доктора, а затем профессора Хагит Гальперин — замечательной женщины и прекрасного литератора, дочери известного израильского литературоведа Исраэля Каца. Хагит — автор нескольких книг о писателях Израиля. К наследию Прейгерзона она отнеслась с большой ответственностью и любовью.

Ее стараниями архив отца зажил новой жизнью, став основой для изучения ивритоязычного творчества в Советском Союзе. Хагит Гальперин написала ряд статей об авторе и его творчестве, была составителем и редактором книг Цви Прейгерзона. Ею написаны вступительные статьи и предисловия к разным изданиям произведений отца.

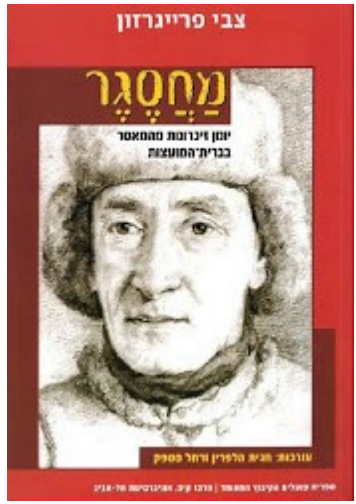
Хагит Гальперин

Под ее редакцией были подготовлены и напечатаны три книги произведений писателя. В 1985 году вышел в свет сборник рассказов *«Хевлей шем»* («Бремя имени»), в издательстве «Ам Овед». Книгу предваряет большая статья Иегошуа Гильбоа. В сборник вошла большая часть рассказов писателя из архива, полученного из Москвы к началу 80-х годов.

Книга вышла еще при жизни нашей мамы (она умерла через год). Можно только представить, какие чувства она испытывала, подписывая эту книгу для своих родственников и друзей: *«Ми шито шель ха-мехабер»* («От жены автора»). Ведь мама всю свою жизнь посвятила отцу, его призванию, его устремлениям; она разделяла вместе с ним опасности, связанные с его писательской деятельностью на иврите, запрещенном в Советском Союзе. И вот теперь на обложке книги стоит настоящее имя автора: Цви Прейгерзон, ее муж…

Книга рассказов сопровождается подробной библиографией всех когда-либо изданных произведений Прейгерзона, составленная Галит Шагив, сотрудницей профессора Гальперин. Помимо рассказов и романов, отдельно приводится библиография стихотворений писателя. В конце книги напечатан также список статей о Цви Прейгерзоне в ивритской печати.

Следующим изданием, подготовленным к печати в том же институте, стал роман *«Ха-сипур ше-ло нигмар»* («Неоконченная повесть» — См. стр. 155). Роману, как и сборнику рассказов, предшествует статья Иегошуа Гильбоа. В конце книги помещены 11 стихотворений автора, написанных в период 1922 — 1934 гг., а также отрывки из личного дневника писателя, который он вел после лагеря (1957–1969).



Невзирая на то, что к этому времени увидели свет практически все основные произведения Цви Прейгерзона в оригинальном ивритском издании, работа над его рукописями продолжалась. Глубокое изучение творчества писателя выявило новые грани его прозы, стиля письма, особенностей словарного запаса. В 2012 году в издательстве *«Ха-кибуц ха-меухад»* вышло в свет второе издание лагерного дневника под редакцией Хагит Гальперин и Рахели Стапек.

Предисловие написано профессором Гальперин. В конце книги напечатаны воспоминания об отце его друзей и товарищей: Меира Гельфонда, Йосефа Урмана, Иехезкеля Пуляревича. Есть там и небольшая статья моего брата Вениамина Прейгерзона о книгах отца по его технической специальности. Помещены также данные об отзывах, статьях и исследованиях творчества писателя в прессе. Завершается издание указателем упомянутых в книге имен. Их в «Дневнике» не менее пятисот, большинство — это имена лагерников, с которыми отец встречался в Караганде, Воркуте, Абези.

И еще одно немаловажное обстоятельство, касающееся оформления книги. На обложке мы видим новое название: «Махасегер». Таким образом, полное название книги звучит так: «Махасегер. Дневник воспоминаний заключенного в Советском Союзе (1949 — 1955)». Ивритское слово «махасегер», которое автор использовал в тексте книги, представляет собой комбинацию из двух слов: «махане» (лагерь) и «сегер» (закрытый) — т. е. концентрационный лагерь. Это одно из новых словообразований, принадлежащих Цви Прейгерзону, который, находясь в отрыве от Израиля, принимал, тем не менее, самое активное участие в работе над ивритом и стал автором новых ивритских слов и выражений.

Появление в Израиле новых изданий произведений Цви Прейгерзона не прошло незамеченным. Его творчеству был посвящен ряд конференций и творческих вечеров с участием видных литераторов и ведущих писателей Израиля. Эти литературные встречи прошли в Тель-Авиве: в Музее диаспоры, в Доме писателя им. Шауля Черниховского, на филологическом факультете Тель-Авивского университета, а также в Иерусалиме, Беер-Шеве и других городах. Израильские писатели и общественность высоко оценили творчество писателя.

Один из самых известных писателей Израиля Аарон Мегед писал: «…редкое литературное дарование, и тем более редкое, что он писал настолько далеко отсюда… Чем Ленский был в поэзии, тем Прейгерзон в прозе. Это одно из великих чудес: как можно так хорошо писать на иврите, находясь настолько далеко от центра… Прейгерзон любил иврит всем сердцем, всей душой, творил на нем — и творил его». Мегед предложил создать словарь Прейгерзона из образованных им слов и выражений.

Крупнейший писатель Израиля Моше Шамир в обширном сообщении о творчестве Прейгерзона сказал: «Общий его стиль — это реализм, эпический размах, непосредственность выражения и язык без маньеризма. И давайте признаемся самим себе, что, читая Прейгерзона, вы вдруг замечаете маньеризм Агнона и маньеризм Хазаза, и душа ваша просто отдыхает, когда вы читаете реалистические, ясные и понятные, при всем богатстве и красоте их языка, рассказы Прейгерзона <…> У меня такое впечатление, что вся израильская литература после 20-х — 30-х годов выглядела бы иначе, если бы Прейгерзон приехал сюда и писал бы здесь». И еще: «Прейгерзон был Прометеем — орел каждый день выклевывал ему печень, а за ночь печень отрастала, чтобы он снова собственной кровью писал свои ивритские строки».

Моше Шамир отметил, что проза Прейгерзона нередко достигает силы и выразительности лучших произведений мировой литературы. На конференции Шамиру задали вопрос: можно ли считать Прейгерзона классиком ивритской литературы? «Безусловно, — ответил он. — Классик — это тот, кто создает новое литературное направление и важные по своему содержанию художественные произведения».

Выступления этих замечательных писателей и некоторые другие я привожу в конце книги. Моей постоянной заботой было сохранение материалов о творчестве отца, чтобы они не пропали в забвении. Я всегда старалась пригласить профессионалов на конференции для записи выступлений, а по мере надобности переносила их на бумагу и переводила на русский язык.

Оригиналы этих работ находятся в литературном архиве Тель-авивского университета. В печати они впервые появятся в этом издании.

Не могу не отметить неизменное участие папиных друзей во всех этих мероприятиях. Его старый друг, известная певица Нехама Лифшиц, вначале сопровождала их замечательным пением еврейских песен, затем прекрасным чтением его рассказов, была ведущей ряда вечеров. Писательница Ямима Чернович на каждой конференции раскрывала новые грани творчества Цви Прейгерзона.

На торжественном открытии в Тель-Авиве улицы им. Ц. Прейгерзона Слева направо: Аталия, Рон Хульдаи, Нина, Биньямин. 2008 г.

А в январе 2002 года мы получили письмо из мэрии Тель-Авива: комиссия муниципалитета приняла решение об увековечении имени писателя Цви Прейгерзона в названии одной из улиц города! Решение было принято на основании просьбы крупнейших писателей Израиля и общественных деятелей. День присуждения улице имени отца был отмечен торжественной церемонией в мэрии Тель-Авива и личным поздравлением мэра города Рона Хульдаи, который сказал: «Очень показательно, что продолжением улицы Тель Гиборим, названной в честь героев, боровшихся за свободу государства Израиль, будет улица Цви Прейгерзона, героя, всю свою жизнь посвятившего борьбе за свободу языка иврит».

Снятие покрывала с указателя улицы «Цви Прейгерзон» в присутствии детей, внуков и правнуков писателя

Так Израиль, страна мечты моего отца, которой он посвятил свой писательский дар, свою любовь, за которую провел в советских лагерях лучшие годы своей жизни, ответила ему достойным признанием и уважением. Улица ивритского писателя Цви Прейгерзона находится в южной части города Тель-Авив — Яффо, между проспектом Бен-Цви и улицей Тель Гиборим

Каждый раз, когда я бываю здесь одна или с родственниками и гостями из-за рубежа, я понимаю, что еще не все сделано для того, чтобы творчество нашего отца стало доступным для многих. Ведь невозможность прочитать его тексты — большая потеря для тех, кто не знает иврита.

В последние годы жизни отца для членов семьи уже не было тайной, что отец — писатель, и пишет свои произведения на иврите. Однажды я попросила его перевести что-либо на русский язык, хотя бы устно. Нет, ответил он, это нельзя перевести. Почему? Потому что в иврите многие слова и выражения имеют свой особый смысл, для этого надо хорошо знать Тору и древнюю историю народа.

Однако в 90-е годы, когда репатриация евреев из Советского Союза приобрела массовый характер, произошли определенные изменения в культурной жизни Израиля. Новые репатрианты, как правило, не могли быстро почувствовать культурную атмосферу страны, и в первую очередь — из-за языкового барьера. В Израиле появились газеты на русском языке, русскоязычные издательства и типографии. Но тематика еще была русской, глубоко укорененной в российской культуре.

Я хорошо помнила это по собственному опыту: сразу после приезда я набросилась на книги, которые печатались за границей и были недоступны в Москве: томики Цветаевой, Бродского, Ахматовой, Пастернака и многое другое. В этом потоке литература о еврейской жизни практически отсутствовала.

Да, надо сказать, что книги на русском языке с еврейской тематикой издавались в Израиле в серии «Библиотека Алия». Это были, в основном, биографии политических деятелей: Бен-Гуриона, Голды Меир и других, а также переводные произведения израильских, американских, европейских писателей, где так или иначе присутствовала еврейская тема.

А вот произведений российских писателей такого рода практически не было. Причина этого ясна: после разгрома еврейской культуры на иврите в начале 20-х и уничтожения писателей на идише в 1948 году, в Советском Союзе еврейская тема стала опасной и фактически закрытой. Даже само слово «еврей» в Советском Союзе было взрывоопасным.

Вот здесь, казалось бы, и напечатать переводы Цви Прейгерзона на русский язык — ведь в его произведениях подробно описана жизнь русских евреев до революции и в разные периоды советской власти. С мыслью об этом я подала заявку в редакцию «Библиотеки Алия». Увы, там сочли, что и так потрачено достаточно средств на выпуск двух оригинальных, ивритских книг Прейгерзона, и теперь надо дать возможность напечататься другим авторам. Нам оставалось надеяться только на себя.

Первые годы в Израиле были нелегки: интенсивное изучение языка, поиски места работы, квартиры. Забота о новых условиях учебы в университете для детей, затем рождение внуков. Много времени пришлось посвятить освоению уровня израильской медицины Я много ездила за рубеж, причем не только с целью туризма, но и сопровождая своего мужа, математика Гришу-Цви Фреймана, профессора Тель-Авивского университета, при поездках на многочисленные конференции. Так мы побывали во многих странах — одно из положительных явлений жизни в свободной стране.

Но мысль о необходимости издания переводов произведений отца не покидала нас ни на минуту: ведь забота о его творчестве — один из главных стимулов нашего пребывания в Израиле. В середине 90-х годов судьба послала нам счастливый случай в виде знакомства с историком и замечательным переводчиком, новой репатрианткой из Тбилиси Лили Баазовой, которая сразу искренне захотела нам помочь.

Лиля — внучка знаменитого грузинского сиониста Давида

Баазова и племянница одного из близких папиных друзей, Меира Баазова. Мы быстро сдружились, в нашем доме она чувствовала себя своим человеком. Как мы узнали, ее переводы с грузинского на русский и обратно пользовались в России большой популярностью. Необыкновенно яркий и интересный человек, она привлекла меня и прекрасным знанием литературы.

Помня свой разговор с отцом относительно переводов, я решила посоветоваться с папиным другом, профессором Михаэлем Зандом, мнение которого для меня всегда значило очень много.

— Нет никакого сомнения, что надо переводить Прейгерзона на русский язык, — сказал он. — То, что говорил об этом ваш отец, сейчас, в настоящей ситуации, не актуально. А если переводчиком будет Лили Баазова, вы можете быть совершенно спокойны за качество перевода.

Рассказы отца в переводе Лили Баазовой сохранили его характерный юмор, раскрыли духовную жизнь и глубокие переживания его героев, жителей еврейских местечек. Их нельзя читать без волнения. Лили перевела 17 рассказов из сборника *«Хевлей шем»*. Предисловие к русскому изданию написал израильский писатель Моше Шамир, а также московский писатель Михаил Синельников; иллюстрировал книгу художник Аркадий Ременник. Сборник вышел в 1999 году в издательстве «Лимбус Пресс» (Санкт-Петербург), под названием «Бремя имени», тиражом в 2000 экземпляров. Книга получила прекрасные отзывы в русско-израильской печати.

Во время моих посещений Москвы, а их было несколько, Михаил Членов приглашал меня на собрания молодежи, интересующейся Израилем, изучающей иврит. Там меня просили рассказать о моих впечатлениях об Израиле, спрашивали о судьбе

дочерей Михоэлса — Нины и Наташи, с которыми я дружила, о том, как продвигается публикация произведений моего отца.

А в 2002 году с помощью Членова в Москве, в Еврейском культурном центре на Никитской, была проведена конференция, посвященная Цви Прейгерзону и его книге «Бремя имени». На эту конференцию приехали из Израиля все члены семьи и Лили Баазова, сделавшая обзорный доклад о жизни и творчестве писателя.

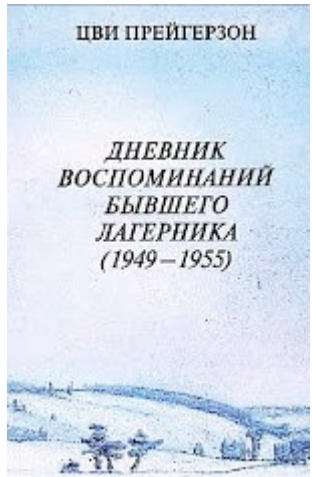
Неожиданно для нас в большом зале не было свободных мест, стояли даже в проходе. Наконец-то и в Москве узнали, что здесь жил и творил писатель Цви Прейгерзон. Встреча была необыкновенно теплой, выступлений было много. Приведу ряд фрагментов из них.

Михаил Синельников: «Это пример верности своему еврейству, своему языку, который стал его родиной; это судьба человека, ставшего свидетелем разрушения его мира и сказавшего об этом на своем родном языке».

Лидия Лебединская: «Творчество на иврите было для него и спасением собственной души, сохранением чувства собственного достоинства».

Русско-израильская писательница Дина Рубина: «Я склоняю голову перед замечательным писателем Цви Прейгерзоном, который был еще и великим сыном своего народа».

Вторым переводом на русский стал «Дневник воспоминаний». Мы решили опубликовать тот вариант перевода, который был сделан Исраэлем Минцем в Москве в 1972 году. Тут уже говорилось, что я переслала его брату в Израиль через Мику Членова. Текст нуждался в серьезной правке, и эту работу взял на себя мой брат. Книга под названием «Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949 — 1955)» вышла в 2005 году, благодаря совместным усилиям двух издательств: оригинал-макет книги был подготовлен иерусалимским издательством «Филобиблон» (директор — Леонид Юниверг), а печать и распространение книги взяло на себя московское издательство «Возвращение» (директор — Семен Виленский).



В своем отзыве на книгу историк и литератор Михаил Хейфец подчеркнул, что в ее лице читатели получили «прекрасный документ и бесценный подарок историкам сталинской эпохи».

Третьей книгой, переведенной на русский язык, стала «Неоконченная повесть», которая вышла в свет в иерусалимском издательстве «Филобиблон» в 2011 году. Ее перевел на русский язык Вениамин Прейгерзон.

Об этой, во многом автобиографической книге, я уже писала достаточно много. Изданная на русском языке, она вызвала большой интерес у читателей и получила, как уже отмечалось выше, премию им. Нагибина Союза русскоязычных писателей Израиля.

Несмотря на этот несомненный и очень желанный успех, оцененный и автором перевода, все мы испытывали горькое чувство: Вениамин в это время был уже неизлечимо болен…

Теперь оставалось заняться переводом основного произведения отца: «Когда погаснет лампада» — большого

романа о предвоенных и военных годах жизни еврейского населения небольшого украинского городка. Произведение было написано отцом в расцвете его творческой деятельности. Как уже писалось, роман был опубликован в Израиле в 1966 году под псевдонимом А. Цфони и под названием *«Эш ха-тамид»* («Вечный огонь»). Роман здесь имел большой успех, но с тех пор прошло уже почти полвека… Его просто необходимо было перевести с иврита на русский язык.

Это сделал израильский русскоязычный писатель Алекс Тарн. В течение нескольких месяцев работа была завершена. И почти сразу же романом заинтересовалось престижное московское издательство «Книжники», выпускающее серию книг «Проза еврейской жизни». Книга вышла в Москве в 2014 году и сразу заняла высокое место в списке бестселлеров этого издательства.

На этом я хочу закончить повествование о моем отце Цви Прейгерзоне. Все, что я могла сделать для него, я сделала. Главное — все произведения отца, писавшего на иврите, стали доступны израильскому читателю.

Об этом папа мог только мечтать. Дети писателя создали условия и для перевода его произведений на русский язык — эта необходимость возникла благодаря массовой репатриации в Израиль из России, которая началась двадцать лет спустя после смерти Цви Прейгерзона. Думаю, что отец был бы доволен — не только фактом, но и качеством переводов его произведений.

Теперь успех и популярность его книг будут зависеть только от самого автора, в чем мы не сомневаемся. Ведь он фактически единственный писатель, который, живя в Советском Союзе, написал о судьбе евреев при советской власти на своем родном языке, иврите. Причем написал с великолепным литературным талантом, который помог читателям не только ознакомиться с историческим ходом событий, но и ощутить боль и душевные страдания еврейского народа, чьим страстным защитником и

представителем был ивритский писатель Цви Прейгерзон.

Эпилог

В этом году исполнилось 45 лет со дня смерти нашего отца, Цви (Григория Израилевича) Прейгерзона, жившего и умершего в Советском Союзе. Он был крупным ученым, специалистом в области обогащения угля. Но его тайная, истинная жизнь проходила в мире его любимого языка иврит, на котором он писал замечательные произведения о своем народе. Он завещал похоронить его на своей исторической родине, в Израиле, и мы исполнили его волю.

Каждый год вся наша семья — дети, внуки и правнуки — собирается вместе, чтобы почтить память удивительного человека Цви Прейгерзона. Нас 25 человек — прямых потомков писателя. К нам присоединяются родственники и друзья — те, кто его знал и помнит, почитатели его исключительной личности и таланта. Это происходит обычно в середине марта (отец скончался 15-го Адара). В кибуц Шфаим, где покоится прах писателя, в этот день приезжает около пятидесяти человек.

Обычно мы, его родные, в этот день встречаемся на улице «Цви Прейгерзон» в южном Тель-Авиве. Так получилось, что это место символизирует и радостные, и очень непростые жизненные ситуации, в которые попадал отец. Она пролегает совсем недалеко от того места, где в 1910 году была построена знаменитая тель-авивская гимназия «Герцлия», в которой отец проучился в течение предвоенного 1913-го — 1914-го учебного года.

Недалеко и тюрьма Абу-Кабир, которая служит напоминанием об аресте и годах заключения, проведенных отцом в сталинских лагерях. Когда я попадаю на эту улицу, то вместе с грустью возникает и чувство удовлетворения. Ведь, что ни говори, а сбылись главные жизненные устремления отца, о которых он мог только мечтать в Советской России.

Сохраненные и переправленные в Израиль усилиями семьи, здесь увидели свет все его художественные произведения. Опубликованы также и их переводы на русский язык. Когда вспоминаешь слова, сказанные, по семейному преданию, великим Х. Н. Бяликом по поводу дарования мальчика Цви, понимаешь, что отцу действительно «подрезали крылья» в период советской власти. Но здесь, в Израиле, эти крылья, крылья творчества Цви Прейгерзона смогли отрасти и расправиться: большой писатель состоялся, несмотря ни на что.

Дети и ближайшие родственники у надгробия Цви Прейгерзону в Шфаим. 1993 г.

По шоссе Аялон, проходящему вблизи «нашей» улицы, мы едем в Шфаим. Небольшое кибуцное кладбище оживает. Взрослые и дети рассыпаются по дорожкам между деревьями, кустами, цветами. Все рады встрече — не так уж часто родные и близкие Цви Прейгерзона собираются вместе.

Встреча приурочена к дате смерти родителей. Ведь мама умерла тоже в марте через семнадцать лет после смерти мужа и похоронена рядом с ним. Однако для нас это не траурный день. Это день памяти родителей, дань памяти большому писателю и человеку великой души.

А недавно встреча была омрачена новым горем, новой могилой: умер и был похоронен здесь же наш брат Вениамин, сын Цви Прейгерзона, который очень любил своего отца и внес свой посильный вклад в издание его произведений…

А вот и полоса серой, «незаселенной» еще земли, загодя приобретенной нами. Здесь, со временем, все тоже будет занято: сестра Аталия, а рядом — и я со своим мужем…

Но оставим грустные мысли. Постепенно народ собирается к памятникам. Здесь жена Вениамина Даниэла с дочерью Тали и тремя внучками. Рядом — его старшая дочь Марина с тремя детьми и с маленьким внуком, и еще одна дочка Юля — с двумя. Разумеется, тут и мы с Аталией, моя дочь Лена и двое ее детей. И, конечно, мой супруг Гриша-Цви Фрейман.

А вот наша старенькая, но крепкая и мудрая тетушка Виктория, папина двоюродная сестра с сыном. Наши двоюродные братья с семьями. И товарищи Вениамина.

У могилы Цви Прейгерзона. 14 марта 2014 г.

Они приехали из разных городов Израиля — из Тель-Авива, Иерусалима, Беер-Шевы, Цфата, Ашдода, Кирьят-Гата, Хайфы, Реховота и других.

Обычно здесь мы делимся воспоминаниями об ушедших близких, слушаем чтение отрывков из произведений писателя. Читают наши внуки — сабры, правнуки Цви. Ведь для них иврит — родной язык, они родились в Израиле. Как обрадовался бы этому их прадедушка! Вот, вся его семья здесь, в Израиле, и все говорят на иврите, его любимом родном языке.

Слушая рассказы о Цви, знакомясь с его произведениями, наша молодежь как бы ощущает сквозь толщу лет неповторимую личность своего замечательного деда и прадеда, его удивительно теплую иронию, умение проникать в душевный мир своих героев, а главное — любовь к этой прекрасной стране и ее народу. В нашу последнюю встречу в этом году впервые были прочитаны несколько стихотворений Цви Прейгерзона — сначала в оригинале, на иврите, читала Михаль, моя внучка, а затем я прочла те же стихи на русском языке в переводе Алекса Тарна.

Как правило, этот день заканчивается в доме одного из детей Цви. Не обходится, разумеется, без застолья. Смотрим фотоальбом, посвященный отцу, слушаем его любимые еврейские песни. Когда жив был Вениамин, мы обычно еще готовили небольшую программу, чтобы встреча была интересной и чтобы дети каждый раз узнавали что-то новое о своем замечательном дедушке. Раньше, когда я была моложе, все приезжали ко мне, в Тель-Авив. А в последние несколько лет инициатива перешла к моей дочери, живущей в Герцлии. Леночка — врач, очень активный человек, которая продолжает нашу семейную традицию.

Надеюсь, эта традиция не будет забыта еще много лет, как не будет забыт и писатель Цви Прейгерзон.

6 июля 2014 года,

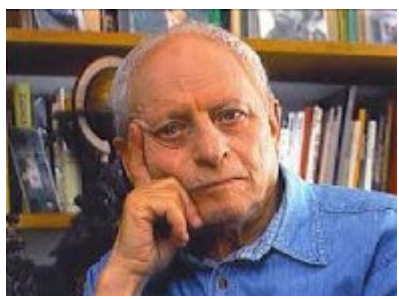
Тель-Авив

Приложения

Приложение I
Тексты выступлений и статья о Цви Прейгерзоне [5]

Вступительное слово Аарона Мегеда, председателя конференции, посвященной Цви Прейгерзону

(11.3.1993. Дом писателей в Тель-Авиве)



Аарон Мегед

Цви Прейгерзон был редким явлением в ивритской литературе и не таким уж обычным в еврейской истории. Он имел как бы двойное духовное гражданство — советское и еврейское. Иврит он называл «своим переносным отечеством», подобно тому как в еврейской истории религия служила таковым для евреев, когда они две тысячи лет жили в изгнании, скитаясь из страны в страну и не имея своего государства. Но появилось поколение, для которого религия перестала быть отечеством, и для него отечеством стал язык — иврит. Прейгерзон любил иврит всем сердцем и душой, творил на нем — и творил его. И когда он писал на иврите, видно было, насколько этот язык ему близок и как он ему предан.

В 1958 году, прочитав о смерти проф. Клаузнера, который когда-то, за много лет до того, был его учителем, Прейгерзон записал в дневнике: «Отец мой и воспитатель, профессор Йосеф Клаузнер, клянусь вам, что до последнего вдоха я буду сердцем и душой предан этому драгоценному достоянию каждого еврея — нашему языку».

В Америке был писатель Перски, провозгласивший своим девизом: «Я раб иврита». Прейгерзон же был не только рабом, но и господином иврита — он владел им полновластно.

Иврит был его домом, но, как ни странно это может показаться, СССР тоже был его домом, несмотря на все выпавшие

ему страдания. Когда Гагарин полетел в космос и СССР праздновал это достижение, Прейгерзон написал в своем дневнике о «великом достижении нашей страны, Советского Союза».

Он был редким явлением и в другом смысле. Многие евреи в галуте писали на иврите, во всех поколениях, и в нашем тоже есть такие. Но он-то жил долгие годы в изоляции, без среды, и при этом сохранил верность ивриту, даже несмотря на репрессии.

Но дело не только в верности ивриту. Он был писателем, прекрасным писателем. Читая хотя бы его библиографию, вы увидите, что он опубликовал многие десятки произведений. После 1927 года его рассказы и стихи публиковались в таких почтенных изданиях, как «Ха-Ткуфа», «Ха-Олам», «Хедим», «Ктувим», а впоследствии и «Мусаф Давар», которые служили приютом для лучших ивритских писателей. Все это публиковалось в периодических изданиях. А затем он присылал из России свои произведения под псевдонимом «А. Цфони» («Северный»). Стали выходить и книги, и последняя книга, «Неоконченная повесть», вышла вот только сейчас. Это начало большой эпопеи под названием «Врачи», своего рода сага о еврейской семье в СССР, начинающаяся еще до революции. Вероятно, она должна была дойти до «Дела врачей».

Но, несмотря на все это, несмотря на то, что у него есть чудесные рассказы, напоминающие Тургенева и Чехова, на великолепном иврите… Я даже предлагал, чтобы кто-нибудь из студентов составил когда-нибудь словарь ивритских слов, созданных Прейгерзоном. Если бы у нас было время, я бы прочел выражения, которые я из него понабирал: «мешочники», «чернявый», «истек слюной» и еще десятки выражений, из которых можно составить целый словарь… Так вот, несмотря на все это, если спросить сегодня ивритских писателей, кто такой Цви Прейгерзон — не найдется и пятерых, которые знали бы ответ.

Это что-то поистине трагическое. Потому что мы создаем себе некий канон писателей, которых читают и изучают, и при этом за бортом остаются люди, которые, может быть, были прекрасными писателями, но не принадлежали ни к какой группе, ни к какому течению, жили сами по себе, и их забыли! Были и другие такие случаи.

Мы собрались здесь сегодня в честь этого писателя не из снисхождения, не из жалости — ну, знаете, как можно жалеть человека, который пострадал от советской власти, был репрессирован, или пережил Катастрофу и так далее, — мы собрались не из жалости, а ради справедливости, чтобы воздать

Цви Прейгерзону по заслугам: ибо он был выдающимся писателем.

Предоставляю слово писателю Моше Шамиру, который на днях отметил пятидесятилетие своей творческой деятельности: он не только один из самых крупных писателей нашего поколения, но и один из немногих писателей — уроженцев Израиля, которые все годы поддерживали тесную душевную и духовную связь с евреями Советского Союза. И это была не только эмоциональная и не только идейная связь, но он еще и боролся, как писатель и публицист, за репатриацию евреев СССР в Израиль. Я думаю, что успехи, достигнутые в этом, можно отчасти считать и его заслугой.

Выступление писателя Моше Шамира

Моше Шамир

Уважаемая семья Прейгерзон, дамы и господа!

Здесь царит атмосфера взволнованности, и не случайно: я сказал бы, что этот вечер может стать и должен стать началом воскрешения мертвых. Дай Бог всем нам — и семье писателя, и ивритской литературе, и госпоже Хагит Гальперин, которая является литературным и научным двигателем всего этого, — чтобы произведения Цви Прейгерзона наконец влились в живой поток ивритской литературы.

Кажется, здесь еще не было упомянуто, что Цви Прейгерзон скончался 25 адара — 15 марта 1969 года, и в этом месяце исполнится 24 года со дня его смерти.

Я хотел бы посвятить отведенное мне время преимущественно тому, каким замечательным писателем был Цви Прейгерзон. Об этом уже говорили и до меня.

Он родился в 1900 году, в начале века. (Шленский научил нас выражению «сын века».) Я прочту несколько строчек из его рассказа (разумеется, автобиографического) «Мой первый круг»:

> Первые дни мои в начале столетия протекли в местечке, очень кривом и выгнутом, круглый год облепленном грязью, пылью и, не дай Бог, снегом. Я ползал по грязи, пыли и снегу и видел в них свой мир. Душа народа тогда кипела в синагогах. По субботам, между дневной и вечерней молитвой, в хасидской молельне я впитывал еврейскую дрожь, которая навсегда отравила мою кровь… Ибо как раненое животное, охваченное смертной мукой, дрожит за своего детеныша, так дрожало за меня уходящее поколение, ревниво следя за каждым моим шагом.

Этих трех-четырех фраз достаточно, чтобы судить о Цви Прейгерзоне как о мировоззрении, как о трагическом человеческом состоянии, как о мастере языка и как о прекрасном писателе-реалисте.

Начнем с самого простого и само собой разумеющегося: о мастере языка. Аарон Мегед прекрасно подчеркнул в своем вступительном слове, что новаторство заключается не столько в изобретении искусственных слов, сколько в новых и свежих применениях существующих слов.

«В местечке, очень кривом и выгнутом, круглый год облепленном грязью, пылью и, не дай Бог, снегом» — обратите внимание, какой язык…

Описывая еврейскую историю своего поколения, Прейгерзон видит падение, видит смерть. Его поколение — раненое животное, которое предчувствует гибель и жалеет своего детеныша, и пытается дать ему всё, и что же оно дает ему? — «еврейскую дрожь, которая навсегда отравила мою кровь». То есть в еврейском наследии, впитавшемся в его кровь, есть какой-то яд, и при этом оно очень мощное, оно будет подталкивать его на какие-то действия, будет жить в нем — и все это содержится в словах «навсегда отравила мою кровь». Так он описывает свое начало.

В последнее время у нас вообще начали открывать забытых прозаиков. Лет пять-шесть назад открыли прозу Давида Фогеля, особенно роман «Семейная жизнь». Фогель родился в 1891-м. Потом, года два назад, открыли Аарона Реувени, родившегося в 1886 году, а буквально в последние недели — Дова Кимхи (1889). Все они относятся к предыдущему литературному поколению, по сравнению с Прейгерзоном. Хагит Гальперин в своем предисловии к «Неоконченной повести» пишет о вкладе Цви Прейгерзона в новую ивритскую литературу. Это правда, он-то свой вклад внес, да только новая ивритская литература его не

приняла. И вот этот вклад, так сказать, до сих пор лежит и ждет, когда же его примут, а вклад-то великолепный! — чему я и посвящаю свое выступление.

Давайте не будем заблуждаться: Цви Прейгерзон — не какой-нибудь инопланетянин, не экзотический дар, прилетевший к нам из другого мира. Думать так о нем было бы ошибкой и замедлило бы его принятие. Цви Прейгерзон — это недостающее звено в ивритской литературе, он заполняет тот самый промежуток, который мы ощущали все эти годы, — вакуум где-то между Агноном и Хазазом. Он, на самом деле, та самая страница прозы, которой так недостает в поколении Авраама Шлёнского и Хаима Ленского (Ленский, правда, остался в России, но его поэзия принадлежит к поколению Шлёнского). Мы все ведь еще помним, как радостно и как жадно Шлёнский и его компания встречали первые рассказы более младшего поколения поэтов, родившихся в 20-е годы, — потому что в этом поколении поэтов не хватало прозы, вот что я называю недостающим звеном. У меня есть такое впечатление, что вообще вся израильская литература после 20-х — 30-х годов выглядела бы иначе, если бы Цви Прейгерзон приехал сюда и писал бы и печатался здесь.

Я уже упомянул, что у нас были две, так сказать, колонны, господствовавшие над общим пейзажем: — с одной стороны — Агнон, с другой стороны — Хазаз. Они местами в чем-то совпадали — например, в том, что много черпали из традиционных источников, — но по своей литературной сути они были противоположны, а между этими противоположностями недоставало середины, промежуточной колонны. Когда вы читаете Прейгерзона, как он пишет о еврейском местечке, как он пишет о революции и о Катастрофе, вы вдруг видите: да это же то, чего нам не хватало все эти годы! — простой правды, хорошей реалистической прозы, с множеством персонажей, достоверной, жизненной, не прячущейся за аллегориями; у нее есть и свои тайны и глубины, но по крайней мере в верхнем своем слое она ясна и понятна, и она передает жизнь одновременно со всех сторон: сюжет, персонажи, страх, эротика, горе, большой общий масштаб и маленькие антисемитские моменты. Общий его стиль — это реализм, эпический размах, непосредственность выражения и язык без маньеризма, и давайте признаемся самим себе, что, читая Прейгерзона, вы вдруг замечаете маньеризм Агнона и маньеризм Хазаза, и душа ваша просто отдыхает, когда вы читаете реалистические, ясные и понятные, при всем богатстве и красоте их языка, рассказы Прейгерзона.

Мы здесь много говорили об иврите, но прежде чем перейти к теме иврита и его значения, ибо здесь у меня будет некая

полемика с предыдущими выступлениями, — я просто обязан прочитать вам отрывок из рассказа «Мой первый круг». Это образец чистой прозаической красоты, стоящий на вершине достижений прозы на любом языке:

> Наступила весна, и мы с Гитой время от времени ходили гулять. Излюбленным местом наших встреч сделалась скамейка на кладбище, где мы сидели часами, не замечая, как летит время. Незаметно подкрадывался вечер, и кладбищенские памятники исчезали в темноте…
>
> В один из таких вечеров нас охватило безумие. Я помню блики вечернего света, скользившие по ее лицу. Оно было торжественно-печальным, и я нежно гладил его. «Ой, мой мальчик!» — простонала Гита. Тело ее изогнулось от страсти, она с силой прижалась ко мне и укусила меня в шею. Я забыл обо всем на свете…
>
> В стране смерти пело свою дивную песню биение жизни.

(Перевод с иврита Лили Баазовой)

Покажите мне во всей мировой литературе отрывок прозы лучше этого. С точки зрения языка можно сделать целый докторат только по этому отрывку. Немногие после него так писали…

Что же касается темы иврита… Хагит и Аарон говорили о «двойном гражданстве» Прейгерзона в двух мирах. А по-моему, нельзя ставить знак равенства между этими двумя мирами в его жизни. В России он был в изгнании, а в иврите он был дома. Что такое иврит, что значило писать на иврите в России тех времен? Мы ведь слышали, Нехама [Лифшиц — *Н.Л.*] прочитала нам мрачные фрагменты из истории, о том, как в СССР постепенно (а то и не очень постепенно) уничтожили всю еврейскую культуру, — что же означало в тех условиях решиться писать на иврите? Не только в смысле объективной опасности попасть в тюрьму, но с точки зрения личной, внутренней — что психологически требовалось человеку, чтобы писать на иврите в огромной России, дикой, чужой, жестокой, враждебной? А с другой стороны, эта Россия вроде бы позволяет кое-что писателям, литературе, театру, и подмигивает, и притягивает, и дает ему публиковаться как инженеру. Что требовалось этому человеку каждый день, чтобы взять в руки перо? Через какие психологические бездны он проходил, через какое преодоление, очищение и вознесение души, чтобы писать на иврите в той России?

Так что иврит уж точно не был для него «вторым среди

равных» по сравнению с окружавшим его советским миром. Было несколько таких, кто заплатил за это жизнью, — Элиша Родин, Хаим Ленский. Поэтому я говорю, что легенду о герое-сионисте, который борется за Эрец-Исраэль и за ее язык, по-моему, не опровергает ни творчество Прейгерзона, ни даже его сомнения. Прейгерзон был частью этой легенды. Прейгерзон был Прометеем, вот на кого он действительно похож, орел каждый день выклевывал ему печень, а за ночь печень отрастала, чтобы он снова собственной кровью писал свои ивритские строки. Миф о Прометее вообще интересный, там были два брата: у Прометея был брат Эпиметей. «Прометей» означает «заботящийся заранее», а «Эпиметей» — «заботящийся после». То есть это разница между предостерегающим и оплакивающим, между борцом и нытиком. Так вот, Прейгерзон был «заботящимся заранее». Во всей его прозе мы видим ощущение того, что эти дни — последние. Этот мотив у него не прекращается. В 30-е годы он пишет о том, что весь еврейский народ стоит перед эшафотом. Поэтому не надо рассматривать сомнения Прейгерзона так, будто его одинаково тянут к себе два разных магнита. Это были очень тяжкие сомнения.

Например, вспомним, как он описывает, почему его герой Шоэль Горовиц не присоединился к своим друзьям, чтобы вместе с ними перебраться через границу в Румынию и дальше в Эрец-Исраэль. Там есть такой отрывок… если читать его как есть, то это либо просто плохой отрывок, плохая проза — но представить себе плохую прозу у Прейгерзона невозможно, — либо это жестокое противоречие самому себе. Он пишет: «Он остался, потому что… он остался, потому что…» — и вы не знаете, смеяться или плакать от этой попытки самооправдания, когда человек знает, что на самом деле это была с его стороны слабость, и он должен был пойти вместе с ними.

Мы приходим к тому самому знаменитому году, проведенному Прейгерзоном в Эрец-Исраэль, 1913 — 1914 учебному году, после которого часть ребят поехала в Россию на каникулы в сопровождении своего учителя Давида Душмана (он же Давид Закай). Среди этих ребят были Шлёнский и другие. Этот период очень близок мне, так как в моей последней книге «До конца» мне совершенно случайно довелось описать именно этот год в гимназии «Герцлия», перед началом Первой мировой войны и высылкой всех российских подданных из Палестины в Александрию. Этот год, проведенный в Эрец-Исраэль, был для Прейгерзона не просто ностальгией, он навсегда определил для него многое, в том числе и верность ивриту. Эта верность не была, так сказать, беспочвенной, у нее были корни в Земле

Израиля, и в этом ее сила. Прочту небольшой отрывок о весне в Эрец-Исраэль:

> Никогда Шоэль не видел такой прекрасной весны, как в этой стране. Только открываешь утром глаза — и вот уже на душе у тебя праздник. Ты умываешься, завтракаешь с ребятами, кладешь в сумку книги и тетрадки и идешь в гимназию. На небе и на земле — весна. Резкий запах красных южных цветов плывет в прозрачном воздухе. Невдалеке открывается море, где стынет парус одинокий. Солнце не жалеет своих щедрот, лица у всех загорелые, и у Шоэля тоже. Весь мир добр к парнишке. На нем короткие штаны, легкие сандалии и белая рубашка, и весь он открыт солнцу, ветру, воздуху и струящейся вокруг жизни. Первой еврейской жизни после двухтысячелетнего перерыва. Шоэль не знал этого, но он был одним из посланников народа — маленьким посланником разбросанного народа, стоящего перед эшафотом…

Еще два слова про героя этого рассказа, Шоэля Горовица. Что означает его имя? Просто «Шаул» на идише? Нет, я думаю, это от ивритского слова «спрашивающий»; а если из первой буквы фамилии Прейгерзон убрать дагеш, то мы тоже получим нечто вроде «спрашивающий», только на идише. А в фамилии Горовиц три последние буквы образуют имя автора — Цви. Итак, «Шоэль» — это «великий задаватель вопросов», а кроме того, это может означать еще и «тоскующий», «взыскующий», «стремящийся»…

Каких только мотивов, каких только образов нет в произведениях Прейгерзона! Это было бы очень благим делом для культуры — издать его собрание сочинений, представить их читателю, может быть, даже в таком, знаете ли, карманном формате… А как этот нерелигиозный человек пишет о религиозной жизни в местечке! Нет ни тех елейных оправданий, которые мы иногда, при всех безднах, находим у Агнона и других, ни внутренней горечи, сатирической, гротескной, которую мы находим у Хазаза. Всё тот же прямой реализм в описании религиозной жизни местечка — он очень важен для нас сегодня как конструктивный элемент нашей культуры, против экстремизма одного толка и против экстремизма другого толка, чтобы увидеть религиозную жизнь в галутном местечке как естественную, органическую часть существования, дающую людям счастье и объединяющую их в семье, в общине, это один из очень важных мотивов. Есть мотив возвращения к корням, к жизни…

Есть, конечно, книга, многие главы которой вызывают

содрогание: «Дневник воспоминаний» — арест, пытки, допросы, отправка в Сибирь. И до той знаменитой сцены — уже когда он вернулся, после реабилитации, и на вокзале в Москве его пришли встретить родные и друзья, и тут мимо проходит пьяный и говорит им: «Столпились, жиды!» — и добавляет знаменитое русское выражение, которое Прейгерзон переводит как «ругать вашу мать», но вы же знаете, что это покрепче, чем «ругать», — и вдруг эта пощечина…

А юмор Прейгерзона! В литературе на иврите не так уж много юмора, в том числе и у наших классиков, он у них либо очень уж тонкий, либо порой слишком острый, язвительный. У Чехова в персонажах масса хорошего юмора, а нашей литературе не хватает крепкой основы реалистической литературы, непосредственной, опирающейся прежде всего на жизненные события. И интересно, что именно писатель, который был вроде бы оторван от основы и по идее должен был писать что-то в духе Кафки или Бруно Шульца, что-то такое ужасное о ночных кошмарах, именно он сохранил ясную голову. Возможно, ему в этом помог живший в нем инженер, ученый, и за это нужно благодарить Бога вдвойне и втройне.

В заключение хочу прочесть его стихотворение (и прекрасное стихотворение), посвященное Иохевед Бат-Мирьям, на ее отъезд в Эрец-Исраэль. Стихотворение из десяти строк, сжатое, необыкновенное. Этот прозаик был и замечательным поэтом.

И — конец!
И конец этой долгой дороге,
спазму нервов, пространству времен,
и судьбе, и минувшим годам…
Где ты, мать милосердная?
Кто нас
приласкает,
утешит, спасет?
Моих братьев ведут к эшафоту,
и я — среди них.

(Перевод с иврита Алекса Тарна)

Что в этом стихотворении? Отчаяние ли? Господа, говорю вам: это настоящее сионистское стихотворение. Это и есть квинтэссенция настоящего сионизма: отсутствие альтернативы. Это тот самый сионизм, который против воли привел в Израиль — и еще приведет — миллионы евреев, прежде всего из той самой великой России, ельцинской, хасбулатовской и уж не знаю,

кто там из них останется наверху.

Это сионистское стихотворение. «Конец» — это не описание ситуации, а восклицание: хватит! Хватит бродить по дальним дорогам, хватит, не хочу больше, а может быть, их и не будет больше, настал конец. Вот что такое была Катастрофа: вместо того, чтобы бежать от нее, мы были уничтожены ею.

Выступление писателя Аарона Мегеда

(28.3.1989. Музей диаспоры в Тель-Авиве)

Господа, я очень взволнован тем, что нахожусь здесь; прежде всего потому, что это сионистское собрание, и я вижу перед собой сионистов, а такие собрания в последнее время — редкость. Можно поехать в США и присутствовать там на собраниях сионистских организаций, но тамошняя публика жертвует Израилю деньги и дает советы, хорошие или плохие, а вот сионистов в том смысле, как мы привыкли это понимать, очень мало. А здесь я вижу перед собой людей с великими заслугами: мы в Израиле привыкли к героизму на войне и героизму в труде, но эти люди — герои языка. Люди, которые были преданы ивриту и отдали ему свою жизнь. И это тоже редкость.

Я должен признаться, что не знал Прейгерзона, я узнал о нем лишь недавно и лишь недавно прочел его, к стыду своему. Открыть для себя хорошего писателя — это большая радость, и радость эта случилась со мной, когда я прочитал его рассказы, роман и воспоминания. Но, кроме радости, это и горе — что я узнал о нем с таким опозданием, лишь после его смерти. Мы, к сожалению, несправедливо обходимся со многими людьми, которые живут в далеких углах, пишут прекрасные вещи и остаются безвестными — в том числе и здесь, в Израиле, а мы их не знаем, они остаются вне нашего кругозора, просто потому, что они поздно приехали (из России, Аргентины, Америки), поздно начали печататься, и мы их не замечаем. И это очень большая несправедливость.

По-моему, Прейгерзон — это великое чудо. Причем двойное. Во-первых, сам факт, что человек в течение многих лет пишет на иврите ТАМ — это, примерно, как обнаружить цветущую розу под снежным сугробом. Как ему удалось так сохранить язык? Но, кроме того, именно этот человек, судя по его биографии, которую я прочел, был прямо-таки обречен на то, чтобы ассимилироваться в русской культуре и забыть еврейскую. Он влился в русскую среду намного успешнее, чем многие другие, его там признавали, уважали и награждали. Для него как раз просто и естественно

было бы ассимилироваться, а он, несмотря на это, не только сохранил иврит, но прямо-таки жил и дышал им. Он — отпрыск того дерева русского еврейства, которое, к счастью, не засохло. Сто лет тому назад молодой поэт (который вскоре и умер молодым) написал в России такие строки на иврите:

Душа моя тоскует
По тебе, Святая Земля!
Ах, если бы мы вместе
Воскресли — и ты, и я!

Сегодня, господа, таких слов не слышно. Потому что вернуться в Святую Землю сумели многие, но крайне мало таких, кто сказал бы, что это воскресит их душу. И, возможно, сегодня такое можно найти только среди этой ветви русского еврейства.

Рассказы Прейгерзона сильно отличаются от того, что знакомо мне или другим ивритским читателям о том времени в России, во время революции и после. Мы знаем, например, рассказы Хаима Хазаза, написанные в тот же период. Но они имеют совершенно другой характер, они экспрессионистские, они передают все потрясения этой эпохи, в них нет ни минуты передышки. А здесь совсем другая традиция, традиция русского реализма, повестей Тургенева, рассказов Чехова, а кроме того, и традиция еврейской литературы, в том числе хасидских рассказов, как в рассказе «Шаддай» — о талисмане, который во время войны переходит от одного к другому и спасает своих обладателей. Это талисман, на котором сам Аризал начертал слово «Шаддай», и он спасает девочку, а потом и другого человека, который оказался рядом с ней. В этом есть некая традиция, о которой мы думали, что она прервалась, — а она продолжается.

Я читал эти рассказы, восхищаясь искусством автора, — ибо эти рассказы написаны с великолепным искусством. Многие из них выглядят как воспоминания, вроде бы все так и было на самом деле, однако это не просто воспоминания. Из области воспоминаний в область художественного рассказа их переносят чудесные описания характеров, талантливые описания пейзажей, исключительный язык. И концовки, оставляющие ощущение какого-то дополнительного смысла, который автор хочет передать вам помимо самих описываемых событий. Собственно говоря, у большинства рассказов этот дополнительный смысл один и тот же — пожалуй, он заключается в том, что, несмотря на все ужасные испытания, через которые проходят евреи, они все-таки сохраняют горящий уголек, и он не гаснет. И все это написано с

таким прекрасным чувством языка, которое редко сыщешь даже и в Израиле. Отношение Прейгерзона к ивриту — это не романтическая любовь, а брак, принесший свой плод: оплодотворение языка.

Приведу несколько примеров, на которых могли бы поучиться израильские писатели. Например, он пишет, как солнце осветило обои в комнате: «Солнце позлатило стебли цветов на стенах». Или: «бормочущий треск швейной машинки». Или: «из-под краев пробивалась тьма и оплетала вас». Или такие игры слов, как «горбатая гора», или «шалости шелестящих растений», или «в ад лающей ночи» (то есть, надо понимать, в ночи лаяли собаки). Или «дороги были размазанные и размурзанные»… Думаю, если бы я преподавал язык иврит в университете, я бы поручил кому-нибудь из студентов составить словарь Прейгерзона. Словарь его неологизмов. Здесь уже упоминали «махасегер» («концлагерь») — я удивляюсь, почему мы не пользуемся этим прекрасно отчеканенным словом. Я составил небольшой список его слов, понадерганных бессистемно, тут и там: «забелка стен» вместо «побелка», «плетучий лес» вместо «джунгли», «большекостый парень»… Некоторые слова и сочетания он не сам придумывал, а брал редкие слова, например, из текстов средневековой Испании или других источников. У него много изумительных описаний природы, солнца, весны…

Все это свидетельствует о редком литературном даровании, и тем более редком, что это написано настолько далеко отсюда. Здесь упоминали Ленского, и действительно: чем был Ленский в поэзии, тем был Прейгерзон в прозе. Это одно из великих чудес: как можно так хорошо писать на иврите, находясь настолько далеко от центра.

Сейчас у нас, как все мы знаем, период упадка. Относительно алии из СССР — просто сердце разрывается каждый день, когда мы читаем, что 80–90 % (или даже больше) «репатриантов» едут в Америку и другие места, а в Израиль едет так мало. Но такое явление, как Прейгерзон, дает надежду. Потому что многие вещи и многие ценности приходят и уходят, но язык и культура остаются. И как язык иврит стремится вернуться на землю Сиона, так стремятся и все влюбленные в иврит.

Выступление Михаэля Занда

Михаэль Занд
(28.3.1989. Музей диаспоры в Тель-Авиве)

Уважаемые члены семьи Прейгерзон, дамы и господа, учителя и друзья мои, друзья из былых времен и друзья, с которыми мне выпала честь подружиться в Израиле!

Сегодня — грустный день: это двадцатая годовщина ухода выдающегося еврейского писателя. С другой стороны, это день, когда мы можем, как мне кажется, оглянуться назад с некоторым удовлетворением и даже гордостью. Сегодня мы видим в Израиле сто семьдесят тысяч евреев, приехавших из Советского Союза и ставших неотъемлемой частью еврейского народа, живущего на своей земле и говорящего на священном языке — иврите. Почему я связываю это с памятью человека, о котором мы сегодня говорим? По одной-единственной причине: если бы не Цви Прейгерзон и подобные ему, сохранившие огонек еврейского языка в СССР в жестоких условиях подполья, в условиях гонений на иврит, — если бы эта искра не сохранилась и не перешла к следующему поколению, то неизвестно, осуществилось бы явление, которое мы сейчас называем еврейским возрождением в Советском Союзе.

Это мои личные сомнения; я знаю, что есть люди, которые их не разделяют, но тем не менее я считаю, что невозможно отделить поколение 60-х — начала 70-х, поднявшее знамя репатриации под девизом «Отпусти народ мой!», от предыдущего поколения; я сомневаюсь, что они появились бы, если бы почва не была подготовлена безвестными солдатами иврита в СССР. Почему я их так называю? Потому что эти люди жили в подполье, жизнь их была священнослужением ивритскому слову, некоторые из них писали в стол без всякой надежды, что их произведения когда-либо увидят свет; некоторые, бог знает какими путями, передавали свои произведения в Израиль, на свою духовную родину, чтобы издать их там под псевдонимом — лишь бы только издать, лишь бы только евреи, живущие в Израиле, узнали, что

еврейская искра в Советском Союзе не погасла, несмотря на жестокое подавление в течение семидесяти лет.

Добавлю еще кое-что: когда поколение конца 60-х — начала 70-х годов (я вижу здесь немало людей, относящихся к этому поколению, и ваш покорный слуга тоже к нему принадлежит) — когда это поколение начало искать дорогу возвращения к еврейству, не в религиозном смысле, а в самом широком смысле слова, к цивилизации своего народа, то оно начало учить иврит и даже сам еврейский алфавит фактически с нуля, и к этим людям было буквально применимо выражение «не знали, как пишется алеф». По правде сказать, мы и не знали, что рядом с нами живет выдающийся ивритский писатель, который пишет свои произведения втайне от всех, и они печатаются в Израиле, и благодаря этим произведениям наши братья, живущие в Эрец-Исраэль, знают, что слово на иврите в СССР до сих пор живо. Из этого поколения 60-х годов я, возможно, был одним из первых и одним из немногих, кому выпала честь лично знать этого выдающегося писателя. Возможно, мне позволено будет поделиться одним воспоминанием — поскольку волосы у меня уже седые, то настало время для воспоминаний.

Это было в 1964 году. В Институте востоковедения при Академии наук, где я работал, состоялась конференция по семитологии. На эту конференцию, так сказать, контрабандой протащили секцию иврита, и я читал там доклад про идиш как субстрат современного иврита. Я, грешный, по своему обыкновению говорил слишком долго, а после доклада ко мне подошел немолодой человек и заговорил на иврите, причем сразу было заметно, что это не книжный древнееврейский язык, а самый что ни на есть современный иврит. Он употребил слово «мизрахан» («востоковед») и другие новообразованные ивритские слова и выражения. Это был Цви Плоткин, известный в Израиле под псевдонимом Ш. Шидрон и некоторыми другими псевдонимами. Он был одним из тех немногочисленных хранителей ивритской культуры в Советском Союзе, во главе которых стоял покойный Цви Прейгерзон

Плоткин и познакомил меня с Прейгерзоном возле центральной московской синагоги — не помню точно, когда это было, в 1965 или 1966 году. Их судили по одному и тому же делу, и в этом деле фигурировали еще два человека: с одним из них, Меиром Баазовым, я впоследствии тоже познакомился, а второго звали Ицхак Каганов, с ним я не знаком. Плоткин, Прейгерзон и Баазов часто встречались, и, по правде сказать, на первых встречах они относились ко мне с некоторым подозрением. Как это в советском академическом учреждении человек вдруг

официально выступает с докладом об иврите? — что-то тут не так! Но постепенно они убедились, что всё «так».

Вот одна иллюстрация: когда Плоткин познакомил меня с Прейгерзоном, последний не назвал мне своего имени, он представился как Цви Харари (Горный). Я долго ломал себе голову, почему Горный, пока не сообразил, что он работает в Горном институте.

Я мог бы еще долго вспоминать — дело не в воспоминаниях, дело в личности. Этот человек хранил огонь иврита, не давая ему угаснуть, и собрал вокруг себя небольшую группу людей, говорящих на иврите и только на иврите: между собою они не обменивались ни единым словом по-русски. Когда я в тесной комнатке Цви Плоткина впервые увидел Меира Баазова, я удивился, увидев незнакомое лицо, и сказал: «Ой». — «Русский язык в этом доме? — возмутился Плоткин (хотя это был не дом, а маленькая комнатка). — Еврей, говори на иврите!»

Это была совершенно уникальная, невероятная для Москвы атмосфера: маленький волшебный остров среди океана ассимиляции, среди подчинения русской культуре и бегства не только от иврита, но даже от идиша, — и вот эти люди сидят и исполняют свою священную миссию: сохраняют иврит в этих нечеловеческих условиях.

Завершу свое выступление цитатой из стихотворения, написанного на иврите в советском лагере принудительного труда. (Кстати, это слово — *махасегер*, по аналогии с «концлагерь», это тоже они придумали. У них были и другие странные слова — например, телефон назывался *сах-рахок*. Однажды я сказал на иврите «телефон», так меня чуть не убили: что за «телефон», когда есть ивритское слово!) Это стихотворение принадлежит еще одному святому мученику еврейской культуры в СССР — поэту Хаиму Ленскому. Слова эти Ленский сказал о себе, и, думаю, мы можем повторить их о каждой из этих легендарных фигур нашего позитивного мифа. У нас есть своя легендарная история иврита в СССР, и человек, в память которого мы сегодня собрались, стоит в центре этой легенды. Итак, вот что написал Хаим Ленский в стихотворении, посвященном ивриту:

О, царь-иврит, ты шлешь с востока легионы
И делаешь меня посланником своим,
И строки букв твоих — как воинов колонны,
И я веду их в бой…

Цви Прейгерзон был посланником царя-иврита, и иврит спасал его в русской тьме — по крайней мере, с точки зрения

еврейской культуры, более темного места уж точно нигде не было. Но благодаря такому посланнику появились и легионы, которые, в конце концов, нашли путь и к ивриту, и к Израилю. И я, недостойный, тоже был одним из них, и многие другие, сидящие здесь, и дай Бог, чтобы эти легионы множились.

Алекс Тарн
«Большой» роман Цви Прейгерзона [6]

Всем нам хорошо знаком жанр «большого» европейского романа-эпопеи, где судьбы персонажей вплетены в широкую картину реальных исторических событий, где рядом с камерными диалогами и тонкой психологической прорисовкой индивидуальных характеров маршируют многотысячные армии, гремят социальные бури и низвергаются могучие империи.

Основу этого жанра составили классические тексты Вальтера Скотта, Стендаля, Гюго, Бальзака, Диккенса и других видных писателей первой половины XIX века. При этом соотношение индивидуального и общеисторического определялось культурными предпочтениями авторов, их личными вкусами, политическими взглядами и литературными амбициями. В России, где всегда любили поговорить о «народе», «народной стихии» и «народном характере», этот жанр был, что называется, обречен на успех, причем с явным, временами гипертрофированным сдвигом в сторону глобальной его составляющей. «Исторического» в «большом» русском романе всегда существенно больше, чем личного, индивидуального. Возможно, поэтому эпический роман «Война и мир» Льва Толстого сыграл столь значительную роль именно в русской литературе — ведь соотечественников Диккенса и Гюго куда больше занимали движения души Дэвида Копперфильда и Жана Вальжана, нежели движение «народных масс».

В итоге, эпопея «Война и мир» практически сразу превратилась в образец русского «большого» романа — именно она, а не тексты Гоголя, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Лескова и других весьма достойных кандидатов. Роман Льва Толстого стал общепринятым мерилом жанра и вызвал к жизни множество повторений: достаточно вспомнить такие примеры, как «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь и Судьба» В. Гроссмана и совсем уже мегаломанский, а потому расползающийся, невзирая ни на какие узлы, гиперпроект А. Солженицына «Красное колесо».

Недавно опубликованная эпопея Цви Прейгерзона «Когда

погаснет лампада» стоит в этом же ряду «больших» российских романов XX века. И в то же время ее можно смело назвать уникальной. Эта уникальность заключается прежде всего в том, что роман, во многом впитавший в себя толстовские традиции русской литературы, был написан не на русском, а на иврите, и предметом своим имел не российское общество в целом, а относительно невеликий его фрагмент: типичное еврейское местечко в промежутке между погромами Гражданской войны и расстрельными рвами Катастрофы. «Миром» романа является традиционный хасидский городок Гадяч, недалеко от Полтавы, его постепенно затухающий, исчезающий, меркнущий еврейский быт; его колоритные старики, поневоле сменившие ремесло шойхетов, бодеков и габаев на членство в советских кооперативах; его молодежь, устремившаяся на учебу в большие города и столицы. «Войной» же становится окончательное уничтожение этого мира руками немецких нацистов и их добровольных помощников, партизанское движение в полтавских лесах, отчаянные попытки обреченных людей выжить среди плясок торжествующей смерти.

Кому-то эта картина может показаться недостаточно широкой. Прейгерзон и в самом деле намеренно ограничивает поле рассмотрения; в отличие от Толстого и Гроссмана, он не претендует ни на точное знание самочувствия Наполеона, ни на реконструкцию гипотетических диалогов в Ставке Верховного Главнокомандующего. Этот писатель подчеркнуто скромен. Ему чужды амбиции великого пророка, духовной глыбы и матерого пастыря человеческих душ. Прейгерзон пишет только о том, что видел своими глазами, о том, что получил из первых рук, услышал от непосредственных участников событий. Возможно, поэтому читателя от первой до последней страницы не покидает устойчивое ощущение достоверности.

Да и не так уж мал описываемый в романе мир. Сколько их было, таких местечек, на просторах Волыни и Галиции, Буковины и Бессарабии, Подолии и Левобережья, областей Полесья и Прибалтики? Сколько детей, женщин и стариков легли под тонкий слой украинской и белорусской земли, шевелящейся от агонии умирающих, сколько невинных душ вылетели в польское небо из труб немецких крематориев? Тысячи мест, миллионы мертвецов. Как ни посмотри — хоть числом, хоть охватом, сгинувший мир черты оседлости бывшей российской империи никак не меньше миров толстовского дворянского света, гроссмановской советской интеллигенции, шолоховского донского казачества…

Зная это, Прейгерзон на всем протяжении романа

последовательно фокусирует свое внимание на выбранной теме, не распыляясь на сопутствующие обстоятельства. За рамками рассмотрения остаются такие традиционно «советские» темы, как коллективизация и стройки коммунизма, сталинские репрессии и Голодомор, всепроникающая пропаганда и тоталитарный соцлагерный режим. В романе слышатся лишь дальние отголоски этих глобальных бурь. Автор словно помещает нас внутрь кокона, отдельного пространства, существующего как бы самостоятельно, приспосабливаясь к окружающему миру, но по возможности минимизируя свои с ним контакты. Следствием этого далеко не очевидного приема становится неожиданный эффект, отмечаемый многими читателями романа: он буквально завораживает, затягивает в свою внешне безыскусную, но такую живую и манящую материю.

Конечно, писатель прекрасно осознавал преемственность своего творения относительно толстовского образца. «Война и мир» упоминается в тексте не раз и не два, причем в явной, непосредственной форме. У профессора Эйдельмана *«особенная страсть к Толстому»*; на чердаке дома, где прячется Вениамин, оказывается томик толстовской эпопеи; между страницами «Войны и мира» прячет свой паспорт обреченный Степан Борисович; девушка с льняными волосами у края дороги *«смотрит, как испокон веков смотрели ее матери и бабки, смотрели на мир и на войну, на своих и врагов»*, а одержимый чтением подросток Ехезкель Левитин *«уже читал и Толстого, и Шекспира»*.

В чем видел Прейгерзон смысл этого настойчивого уподобления? Скорее всего, в сопоставимом масштабе описываемых событий. Теплый мир семьи, дома, общины, раздавленный тяжестью тектонических плит истории, безжалостной войной, хладнокровным душегубством. Погасшая лампада в гробнице хасидского цадика на старом кладбище уничтоженного еврейского местечка. И — новый мир, сильными побегами прорастающий из-под обломков.

Первые главы этого романа Цви Прейгерзон писал в начале войны на угольных шахтах Караганды, куда был отозван уже из рядов народного ополчения. Вернее, не писал, а вписывал между строк толстого тома «Капитала», вписывал запретными ивритскими буквами, справа налево. Вот уж действительно, нарочно не придумаешь: главы романа о хасидском местечке, написанные на сефардском иврите в жанре толстовской эпопеи меж строк коммунистической библии… Поистине уникальный текст, невиданное, невероятное явление человеческого духа.

Завершенная уже после войны и после семилетней каторги в

гулаговских рудниках Воркуты, рукопись романа была тайно передана в Израиль и напечатана здесь в 1966 году под псевдонимом А. Цфони и под названием «Вечный огонь». Нынешняя публикация книги в переводе на русский предоставляет русскоязычному читателю бесценную возможность знакомства с этим замечательным произведением.

Приложение II
Библиография [7]

Художественные произведения Цви Прейгерзона

На иврите:

«Эш ха-тамид» («Вечный огонь»): Роман. — Тель-Авив: Изд-во «Ам Оведˮ, 1966. (Издан под псевдонимом А. Цфони).

«Йоман зихронот, 1949 — 1955» («Дневник воспоминаний, 1949–1955»). — Тель-Авив: Изд-во «Ам Оведˮ, 1976.

«Хевлей шем» («Бремя имени»): Сб. рассказов. — Тель-Авив: Изд-во «Ам Оведˮ, 1985.

«Ха-сипур шело нигмар» («Неоконченный рассказ»): 1-я часть неоконченного романа «Рофим» («Врачи»); стихи, отрывки из дневников. — Тель-Авив: Изд-во «Ха-кибуц ха-меухадˮ, 1991.

«МАХАСЕГЕР: Йоман зихронот ми ха-маасар бе-Брит ха-Моацот» («Концентрационный лагерь: Дневник воспоминаний заключенного в Советском Союзеˮ) / Под ред. Хагит Гальперин и Рахель Стапек. — Тель-Авив: Ха-кибуц ха-меухад; Центр Кипп Ун-та, 2012. — (Приложение: Воспоминания о Цви Прейгерзоне — Меира Гельфонда, Йосефа Урмана и Ихезкеля Пуляревича).

На русском языке:

Бремя имени: Рассказы / Пер. с иврита Л. Баазовой. — Санкт-Петербург: Изд-во «Лимбус-Прессˮ, 1999.

Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949 — 1955) / Пер. с иврита И. Минца. — Иерусалим: Изд-во «Филобиблонˮ, 2005. — (Совместно с московским изд-вом «Возвращениеˮ)

Неоконченная повесть / Пер. с иврита В. Прейгерзона. — Иерусалим: Изд-во «Филобиблонˮ, 2011.

Когда погаснет лампада: Роман / Пер. с иврита А. Тарна. — Москва: Изд-во «Книжникиˮ, 2014.

Статьи о Цви Прейгерзоне на русском языке [8]

Клепфиш Циля. Игра стоила свеч // Наша страна. 1979. 11 апр. С. 3. — (Тель-Авив).

Урман Иосиф. Последний из могикан // Наша страна. 1980.

14 нояб. С. 3. — (Тель-Авив).

Коэн Исраэль. О Цви Прейгерзоне / (Пер. с ивр.) // Наша страна. 1981. 27 авг. С. 5. — (Тель-Авив).

Минц Исраэль. Иврит заключенного-еврея // Наша страна. 1984. 6 апр. С. 4. — (Тель-Авив).

Занд Михаэль. Цви Прейгерзон // Возрождение. 1987. № 10. С. 86–91. — (Иерусалим).

Алон Лея. Вечный огонь // «И возрадуется сердце мое». Иерусалим: «Мория», 1991. С. 169–205.

«Прейгерзон Цви Герш (псевд. А. Цфони)» // Краткая еврейская энциклопедия. 1992. Т. 6. Стр. 755–757. — (Иерусалим).

Белов Авраам (Элинсон). Двойная жизнь Цви Прейгерзона // Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе. Иерусалим: Изд-во «ЛИРА», 1998. С. 288–296.

Мазин Аркадий. Родная речь // Вести (Прилож. «Окна»). 1999. 14 янв. С. 24–25, 35. — (Тель-Авив).

Белоусов Александр. Свеча его не погасла // Наша страна (Прилож. «Россыпь»). 1999. 21 янв. № 40. С. 14–15. — (Тель-Авив).

Айзенштат Лев. Родная речь // Народ Книги в мире книг: Бюллетень ассоциации еврейских библиотек. 1999. № 21 (Июнь). С. 2–3. — С.-Петербург).

Белоусов Александр. Светильник его не погас // Новости недели (Прилож. «Евр. камертон»). 1999. 2 сент. С. 22–23. — (Тель-Авив).

Красильщиков Аркадий. Природа света // Время (Прилож. «Калейдоскоп»), 1999. 23 сент. С. 23. — (Тель-Авив).

Баазова Лили. Цви Прейгерзон (1900 — 1969): Очерк жизни и творчества // Тель-Авив: Журн. лит. творчества. 1999. № 3. (Сент.). С. 38–39. — Тель-Авив).

Синельников Михаил. Любовь к ивриту (О судьбе Цви Прейгерзона) // Цви Прейгерзон. «Бремя имени». — С.-Петербург: «Лимбус Пресс», 1999. С. 9–22.

Аграчева Иудит. До последнего вздоха буду предан ивриту // Вести-2. 1999. 18 нояб. С. 12. — (Тель-Авив).

Шамир Моше. Человек, который обогащал / Пер. с ивр. // Цви Прейгерзон. «Бремя имени». — С.-Петербург: «Лимбус Пресс», 1999. С. 7–8.

Бунин Григорий. Человек, влюбленный в иврит: К 100-летию со дня рождения Г. Прейгерзона // Еврейский мир. 2000. № 4 (138). С. 14–15. — (Москва).

Варжапетян Вардван. Нить, сплетенная из букв // Вестник ЕАР — 2000. № 5 (34). С. 13–14. — (Москва).

Шайкевич Александра. Прочтите эту книгу // Еврейский Мир

(718) № 429. — 2000. 10 авг. С. 62. — (США).

Липовецкая Нина. Строки об отце // Вести (Прилож. «Окна»). 2002. 4 июля (С. 26–29) и 11 июля (С. 14–17). — (Тель-Авив).

Клименко Альфред. Бремя имени: Рец. на кн. «Бремя имени» // Новости недели (Прилож. «Семь дней»), 2000. 3 авг. С. 23. — (Тель-Авив).

Любинский Александр. Свобода, которую не отнять // Новости недели (Прилож. «Семь дней»). 2000. 17 авг. С. 23, 27. — (Тель-Авив).

Бартов Давид. Самый северный ивритский писатель / Пер. с ивр. // Дварим. 2001. Авг.-сент. № 17. С. 4. — (Иерусалим).

[Баазова Л.] Вечер Цви Прейгерзона в Москве // Вести. 2002. 24 окт. С. 10. — (Тель-Авив).

Шалит Шуламит. «Раб и господин иврита» (Цви Прейгерзон, 1900 — 1969) // Вестник. 2004. 9 июня. № 12 (349). С. 30–33. — (Балтимор, США).

Ходорковский Александр. Встреча с еврейским писателем // Вести (Прилож. «Окна»). 2006. 2 марта. С. 44. — (Тель-Авив).

Эренбург Матвей. Рукописи не горят// ЕГ (Еврейская газета). 2006. Май. С. 27. — Германия).

Хейфец Михаил. Дневник лагерника // Вести (Прилож. «Окна»). 2006. 8 июня. С. 20. — (Тель-Авив).

Гельфонд Меир. Тюремные встречи. Цфони. // Вести (Прилож. «Окна») 2006. 8 июня. С. 22, 24. — (Тель-Авив).

Липовецкая-Прейгерзон Нина. Встреча с Эренбургом // Новости недели (Прилож. «Еврейский камертон»). 2006. 2 ноября. С. 18–19. — (Тель-Авив).

Липовецкая Нина. Когда рукописи не горят // Вести (Прилож. «Окна»). 2007. 26 апр. С. 20–22. — (Тель-Авив).

Прейгерзон Нина. Ученик гимназии Герцлия // Вести (Прилож. «Окна»). 2008. 27 марта. С. 16, 18. — (Тель-Авив).

Стихи разных лет // Пер. Алекса Тарна // Иерусалимский журн. 2010. № 36. С. 297–294. — (Иерусалим).

Княжна: Рассказ // Пер. Алекса Тарна // Вести (Прилож. «Окна»), 2010. 21 сент. С. 32–33. — (Тель-Авив).

Тарн Алекс. Подпольный Бен-Йегуда // Вести (Прилож. «Окна»). 2012. 4 мая. С. 31. — (Тель-Авив).

Давидзон Михаил. Код Цви Прейгерзона // Вести (Прилож. «Окна»), 2014. 8 мая. С. 28–29. — (Тель-Авив).

Тарн Алекс. «Большой» роман Цви Прейгерзона // Вести (Прилож. «Окна»). 2014. 19 июня. С. 11. — (Тель-Авив).

Приложение III
Несколько слов о научных книгах отца

При отъезде в Израиль беру с собой нашу обширную библиотеку. И хотя книги вроде бы не составляют необходимого звена в новом обустройстве жизни, но именно они кажутся необходимыми, связывающими нашу «старую» жизнь с новым будущим существованием. Как можно жить без любимых книг? И в Израиле я меньше чувствовала себя оторванной от родных и друзей, а уж чтение «Войны и мира» было лучшим лекарством от неизбежной ностальгии в начальном периоде жизни на новом месте.

Наряду с русской классикой и медицинскими книгами я привезла с собой и книги моего отца по углеобогатительной специальности. Большую часть жизни он посвятил научно-исследовательской работе и одну за другой писал книги — учебники и монографии для студентов и специалистов в этой области. Наука из года в год развивалась, методы обогащения угля, не без помощи отца, совершенствовались, и была потребность в обновлении учебного материала. Книги Прейгерзона издавались регулярно через каждые несколько лет, с перерывом на пребывание автора в сталинских лагерях.

В первые годы моей жизни в Израиле, в Беер-Шеве, каждые два года на собрании компании «Фосфаты Негева», в которой работал мой брат Биньямин (по специальности он, как и отец, — горный инженер), объявлялась премия им. Цви Прейгерзона. После доклада о его жизни и научной деятельности в области обогащения угля одному из наиболее способных и перспективных молодых инженеров — новых репатриантов сходной специальности — вручалась премия: чек на сумму 1500 шекелей (в то время сумма весьма значительная). Выделялась она частично компанией, а частично членами семьи Прейгерзон.

В эти дни я привозила туда из Тель-Авива монографические издания отца и делала выставку его научного творчества. Помню, подходили инженеры-горняки, репатрианты из России. И нередко я с удовлетворением слышала: «Этот труд по обогащению угля до сих пор является моей настольной книгой, необходимой для работы».

В одной из этих книг есть и мой небольшой чертеж, который отец когда-то попросил меня сделать, чтобы поместить в свой учебник. Вспоминается, как сразу после папиного ареста 1 марта 1949 года мама послала нас с сестрой Аталией на Арбат в

книжный магазин. С еще мокрыми от слез глазами мы успели купить несколько экземпляров папиной книги, которая вышла в конце 1948 года, — ведь книги арестованных «врагов народа», как правило, изымались из продажи. Одна из тех купленных нами книг до сих пор находится в моем собрании.

К слову сказать, книги Цви (Григория Израилевича) Прейгерзона практически никогда не редактировались — не было лучшего редактора, чем сам автор. Его писательский дар и абсолютная грамотность помогали ему в прекрасном изложении научного материала. Интересно, что в период пребывания отца в лагере в Москве была напечатана книга по той же специальности другого автора. По возвращении из лагеря папа с усмешкой показывал нам ряд страниц этой книги, которые были слово в слово копией предыдущего труда отца. Ведь тогда казалось, что «враг народа» уже никогда не вернется к своей творческой работе.

В Израиле я уже более тридцати лет. Все эти годы книги отца — и художественные, написанные на иврите, а также переведенные на русский язык, и научные — стоят на полке в салоне нашей квартиры. Но как быть дальше? Пора подумать об их судьбе. И если художественные произведения отца на иврите и в переводах на русский язык не вызывают беспокойства, то научные книги и учебники не возьмет ни одна библиотека в Израиле, ведь они сугубо специальные и на русском языке…

И вот, будучи приглашена к профессору Хагит Гальперин, заведующей писательским архивом в Тель-Авивском университете, где хранятся рукописи и книги отца на иврите, я договорилась с ней о передаче в этот архив всех имеющихся у меня «русских» книг отца по его горно-обогатительной специальности. Теперь они будут храниться в этом архиве. Как камень свалился с плеч. Когда будут изучать творчество отца на иврите, составляющее особую страницу литературы еврейской диаспоры в социалистическом государстве, его глубокая и обширная научная деятельность ученого послужит прекрасной характеристикой этого всесторонне одаренного человека.

Грустно, очень грустно было расставаться с книгами отца — как будто прощаешься со значительной частью его личности. Однако испытываешь удовлетворение от сознания того, что папа был бы рад, зная, что в Израиле — в стране мечты всей его жизни — остался след и его научного творчества.

Книги по специальности «Обогащение угля» Григория Израилевича Прейгерзона

1. Обогащение угля Московской области (в соавторстве с проф. В. Трушлевичем). — М.: Планхозиздат, 1930. — 64 с.

2. Примеси в угле и способы их удаления. — М.: Гориздат, 1932. — 72 с.

3. Опробование полезных ископаемых. — М.: Горно-геолого-нефтяное издательство, 1933. — 134 с.

4. Общий курс обогащения угля. — М.; Грозный; Ленинград; Новосибирск: Горгеонефтиздат, 1934. — 312 с.

5. Дробление и грохочение полезных ископаемых (в соавторстве с Л. Б. Левенсоном). — М.; Ленинград: Гос. научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1940. — 772 с.

6. Обогащение угля (общий курс). — М.; Ленинград: Гос. научно-технич. изд-во нефтяной и горно-топливной литературы, 1941. — 407 с. — (Из-за начала 2-й Мировой войны книга не была выпущена в свет).

7. Обогащение угля: Учебник для горных ВУЗов. — М.; Ленинград: Углетехиздат, 1948. — 495 с.

8. Основы обогащения углей: Учебник для горных техникумов. — М.: Углетехиздат Западугля, 1948. — 191 с.

9. Обогащение угля. — М.: Изд-во «Недра», 1964. — 540 с.

10. Обогащение угля. — М.: Изд-во «Недра», 1969. — 471 с.

Мне хотелось бы рассказать вам о судьбе своего отца, этого удивительного человека, выдающегося писателя, создавшего яркую галерею человеческих образов; ученого, оставившего значительный след в науке. Зачем? Вообще-то об отце уже довольно много написано и рассказано, да и объемистый массив его изданных публикаций говорит сам за себя...

Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился – в сталинском лагере или на институтской кафедре, – именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно!

Нина Липовецкая-Прейгерзон

notes

Примечания

1

Здесь и далее курсивом приведены тексты Цви Прейгерзона. Перевод рассказов Лили Баазовой.

2

«Неоконченная повесть» — автобиографический роман Цви Прейгерзона. Перевод Вениамина Прейгерзона.

3

В романе «Неоконченная повесть» — с отцом.

4

«Дневник воспоминаний бывшего лагерника, 1949 — 1955» / Перевод Исраэля Минца. — Иерусалим-Москва, 2005.

5

Переводы с иврита выступлений израильских писателей Моше Шамира и Аарона Мегеда, а также историка-востоковеда Михаэля Занда, выполнены Рахелью Торпусман.

6

Впервые статья опубликована 19 июня 2014 г. в израильской газете «Вести» (прилож. «Окна»).

Составитель — Нина Липовецкая; редактор — Леонид Юниверг.

8

В данную библиографию включены наиболее значительные статьи о жизни и творчестве Цви Прейгерзона.